Далия ТРУСКИНОВСКАЯ

БЕРЕГОВАЯ СТРАЖА

Серия исторических романов

Далия Трускиновская

Береговая стража

«ВЕЧЕ»
2016

Трускиновская Д. М.

Береговая стража / Д. М. Трускиновская — «ВЕЧЕ», 2016 — (Серия исторических романов)

ISBN 978-5-4444-0978-7

В XVIII веке балетная труппа Большого Каменного театра в Санкт-Петербурге жила так же, как и в наше время: интриги, ссоры из-за ролей, любовные встречи молодых танцовщиков. Но в амурный треугольник вмешалась смерть. Красавица-дансерка Глафира, в которую был безнадежно влюблен фигурант Санька, была найдена мертвой за кулисами, среди декораций, а рядом с ней лежала маска, в которой накануне Санька изображал «адский призрак». На помощь ни в чем не повинному танцовщику приходит влюбленная в него молодая артистка, которую прозвали Федькой. Она видит только один способ помочь любимому: заплатить лжесвидетелям, чтобы отвести от него беду. Но на это нужны деньги. А тут еще Санька неожиданно влюбляется в одну из богатейших красавиц столицы…

ISBN 978-5-4444-0978-7

© Трускиновская Д. М., 2016
© ВЕЧЕ, 2016

Содержание

Пролог 6
Глава первая 11
Глава вторая 20
Глава третья 30
Глава четвертая 40
Глава пятая 49
Глава шестая 57
Конец ознакомительного фрагмента. 62

Дарья Плещеева
Береговая стража

© Плещеева Д., 2013
© ООО «Издательство «Вече», 2013

* * *

Пролог

После бурной ночи со всеми ее шалостями, томными стонами и лукавыми шепотками, бесстыжими пальчиками и жадными губками, любовник Санька Румянцев, фигурант балетной труппы Большого Каменного театра, оказался внезапно и стремительно выставлен на улицу – и это непроглядным зимним утром! Да и не просто зимним – петербуржским утром, когда ледяная сырость мелкими, мельчайшими капельками висит в воздухе и тут же просачивается сквозь шубу, не говоря уж о чулках. Вроде и не холодно, снег не тает, слякоть не допекает, а ветер отвратительный.

Простой народ вовсю бежал по улицам, не смущаясь темноты, дворники скребли лопатами и вздымали метлами снег, вывозили его на широких санках, церковные колокола звали на службу, жарко и соблазнительно пахло свежеиспеченным хлебом – день начинался…

Санька поежился и отошел в сторонку – заново подвязать чулки и застегнуть пряжки на туфлях. Когда удираешь впопыхах, не до них. И ведь винить некого – сам должен был о себе позаботиться. Знал же, знал…

Любовница, Анюта Платова, служившая в том же театре, была особа благоразумная. Первым делом, еще только задумав стать дансеркой, выскочила замуж за театрального машиниста, великого мастера всяких чудес, вроде вырастающих прямо на глазах у изумленной публики садов, бушующих морских волн или такого ужасающего пожара города Карфагена, что публика из зала выскакивала. Но и столь же великого выпивохи, которого за один лишь механический талант терпели и не гнали. Затем, уже стоя на пьедестале, который возводит под собой всякая замужняя персона, она покрутила головкой, метнула взоры туда и сюда, сообразила, кто из поклонников побогаче, и приблизила к себе откупщика, господина Красовецкого, составившего себе состояние на хлебном вине. С 1767 года, когда откупа были введены повсеместно, компания, в которой он состоял, давала казне до полумиллиона рублей ежегодно – нетрудно представить, какое несметное количество денег прилипало к рукам откупщика.

Красовецкий стал чуть ли не законным сожителем и снял для Анюты дом на Малой Морской, как раз за площадью, где возводился Исаакиевский собор, – и от Невского с его лавками и гуляниями недалеко, и от Большого Каменного театра. Он способствовал ее карьере, помог из фигуранток перейти в дансерки, навешал на любовницу алмазных ожерелий, подарил ей серебряные сервизы и являлся с нежностями два-три раза в неделю.

Тогда, обзаведясь мужчиной для соблюдения приличий и еще одним – ходячим кошельком, Анюта высмотрела в балетной труппе Саньку. Этот – для тела и души.

Она была большой умницей по части арифметической. И потому жизнь рассчитала очень толково. Зная, что после откупщикова визита у нее два дня свободны, как раз на это время она призывала любезного Санюшку. Но непогрешима одна лишь италианская двойная бухгалтерия. Полагая, что коли Красовецкий навестил ее в четверг, то уж ранее субботы никак не явится, Анюта преспокойно пригласила юного фигуранта в пятницу – и промахнулась. Откупщик вздумал после отчаянной картежной ночи навестить любовницу, одарить ее с выигрыша и золотыми империалами, и радостными ласками. А это получилось некстати. Вот и пришлось выпроваживать сердечного дружка впопыхах.

Санька был в туфлях – как его привезла вечером из богатого особняка, где давался домашний концерт, Анюта. Кабы не откупщик – она бы спозаранку послала девку Парашку за извозчиком, и любовник был бы доставлен домой без всякой угрозы здоровью. А теперь – вся надежда на длинные и быстрые ноги. Да на Гришу Поморского, который жил там же, неподалеку, и пустил бы погреться до той поры, как извозчики выедут в город собирать урожай – спешащих на службу чиновников.

Нужно доскакать до Гриши, пока ноги в туфлях совсем не замерзли! А потом – в Коломну, домой, в две тесные, но обычно жарко натопленные комнатушки, которые снимала небольшая семья – сам Санька, его матушка, вдова канцеляриста, и младший братец, по счастью, не имевший способностей к танцам.

Вдруг Санька замедлил бег. Он оказался возле дома первой дансерки Глафиры Степановой, в которую был давно и безнадежно влюблен.

Да, именно так – состоял в утешителях у Анюты, а любил недосягаемую Глафиру. В двадцать лет такое случается.

Отчего ж Глафира была недосягаема? Во-первых, он не осмеливался предложить ей себя. Вокруг нее такие кавалеры увиваются, и денежные, и чиновные, и красавцы, и гвардейцы, надежды нет никакой. Во-вторых, Глафира себя блюдет, и слухи о ее любовниках сплошь оказываются нелепыми. Кого только не подозревали! Но дансерка живет по средствам, сообразно жалованью, богатых подарков не принимает. А ведь могла бы, как Анюта, снизойти к богатому откупщику, есть-пить на золоте, носить алмазы и в волосах, и на пряжках от туфель.

Вырастет же среди театральных девок такая недотрога…

Она была удивительно хороша собой – светловолоса, с большими темными глазами, с удивительно пряменьким и тоненьким носиком – не то, что Анюта, которая из-за своего носа репкой печалилась куда больше, чем из-за мужнина пьянства. Муж прибредет под утро, да и завалится в своей комнате, до обеда его не слыхать, а нос-то при тебе постоянно!

Опять же талия. Анюта затягивается так, что ни охнуть, ни вздохнуть, а Глафире незачем – она всегда тоньше зашнурованной Анюты на полтора вершка.

И рост у нее счастливый – крошка, малютка, которую всякий может взять на руки, как дитя – коли позволит. Глядишь – и хочется собой всю ее окутать, и такая нежность в душе просыпается – спасу нет…

И обаяние. Войдет бесшумно, потупив глаза, вдруг вскинет их, улыбнется – словно б несмело, нерешительно, слова не вымолвит – а все уж покорены.

Не раз и не два задавал себе Санька вопрос – для кого же блюдет себя Глафира? Не может быть, чтобы никто не пал на сердце. Ведь и в танце вольностей не допускает! Касается кавалерской руки кончиками пальцев – если вообще касается. Саньке несколько раз выпало такое счастье – подавал ей руку, когда она в роли Венеры, вся в розовых гирляндах, сходила с глуара в балете «Парисов суд». Глуар, он же «машина Славы», под сладостную музыку опускался сверху, и Глафира стояла в нем, не держась, соблюдая правильную позицию рук и улыбаясь так, как пристало богине.

А так танцует, что прославленным итальянкам есть чему поучиться. Антраша бьет чистенько, вертится ровненько, ручки округляет приятнейшим образом, прыгает без стука, в каждом повороте головки – чувство, в каждом положении пальчиков – смысл.

И ножки… крохотные ловкие в тоненьких чулочках, в туфельках – таких, что целиком встанут на мужскую ладонь, от носка до каблучка и четырех вершков не наберется…

Все в ней было изумительно!

Любил Санька Глафиру чуть ли не с детства – он еще в Танцевальной школе учился и амурчиков на сцене Эрмитажного театра изображал, а она уже плясала в старом, но вечном балете «Забавы о Святках» русскую, а в «Новых аргонавтах» – одну из тройки прекрасных гречанок, и сама государыня присылала ей перстень и браслет.

И ничего с собой не мог поделать дансер Румянцев. Анюте потому и удалось его соблазнить, что до девятнадцати лет с Глафиры глаз не сводил, все на что-то надеялся, а потом просто стыдно перед товарищами стало за мужскую девственность.

Теперь уж в театре знали, что у него с Анютой случились амуры. Но театральные девки могут из-за роли подраться хуже базарных баб, а когда речь о том, как богатого покровителя

вокруг пальца обвести, – вмиг объединяются. Опять же – начало их романа как-то оказалось на виду, а продолжение – нет, оба были осторожны.

Санька вдруг обнаружил себя стоящим под Глафириными окнами. Именно стоявшим, хотя следовало бежать, нестись стрелой. Вечером-то представление, а дансер, утирающий сопли, – зрелище преотвратное. Да и что толку стоять? Она там спит в уютной постельке – да и одна ли? Может, сейчас отворится дверь, и любовник более удачливый, чем фигурант Румянцев, спустится с крыльца, кутаясь в шубу или длинную епанчу гвардейского офицера… узнать бы наконец правду, угомониться и поставить на этой несуразной любви крест! Но сперва – узнать правду…

Пусть явится, что и у нее любовник имеется, да и не один! Насколько же тогда будет проще вырвать из души сию занозу! Поболит – и перестанет.

Злобного намерения ненадолго хватило. Потоптавшись в десяти шагах от крыльца, Санька образумился. Удивительно, как холод проясняет и подстегивает мозговое устройство. В последний раз взглянув на темное окошко, фигурант Румянцев поставил дыбом ворот шубы и поскакал к приятелю Грише Поморскому, пожилому скрипачу придворного бального оркестра. Он давал Саньке уроки музыки, потому что танцевальная карьера у парня не ладилась, следовало не то чтобы менять ремесло – а приспосабливать его к требованиям жизни. Обучать богатых купчих контрдансу, подыгрывая на собственной скрипочке, – дело любезное и хлебное.

Румянцев не обратил внимания на бородатого человека в тулупе и преогромных валенках, который стоял у стены с лопатой. Кому и обретаться зимней ночью на улице с лопатой, как не дворнику? И пристало ли фигуранту вглядываться в дворников?

Одно благо – что дансеры, певцы, фигуранты и музыканты нанимали себе квартиры недалеко от нового Каменного театра, что на Карусельной площади. Конечно, выстроен он на отшибе, место тут тихое и бедное, на столицу не похожее. Но с государыней не поспоришь: распорядилась ставить Каменный театр на месте того деревянного сарая, где раньше плясали воспитанники Танцевальной школы, – и вот он уже стоит, вот он виднеется сквозь утреннюю мглу – огромный, тяжеловесный, с колоннами по фасаду, с мраморной Минервой на фронтоне. И площадь перед ним – чтобы для всех экипажей в день представления хватило места. Набиваются-то в зал две тысячи зрителей – не шутка!

Проводив Саньку взглядом, мужик в тулупе полез за пазуху и вынул круглые часы на цепочке. Дворник с часами – это уже само по себе было удивительно. Однако слова, которые он произнес, прозвучали вовсе загадочно:

– Ну что, брат сильф, опять промашка вышла? И это бы еще ничего! Часы дворник мог подобрать – мало ли пьяных разгильдяев шатается по улицам? И странное словечко «сильф» подслушать у господ. А вот откуда взялся у него идеальный французский прононс, с коим были сказаны общеизвестные слова «A la guerre comme a la guerre»?

Затем, не став разгребать лопатой выпавший ночью снег, чтобы высвободить ступеньки, дворник быстрым шагом удалился.

Он топал с лопатой на плече мимо будущего собора к набережной Мойки, в сторону Невского. Там, не доходя проспекта, он вошел в заснеженный двор и по узкой тропинке добрался до крыльца.

Его впустили сразу. Так совпало, что прислужник Зинька выносил в тот миг хозяйский горшок.

В сенях странный дворник отряхнулся, выбрался из тулупа, отцепил фальшивую бороду, но валенки стягивать не стал – так и вошел в комнату, где в столь ранний час уже все было готово к чаепитию.

Избавленный от верхней одежды и щетины, он оказался молодым человеком приятной наружности, но уж больно щупленьким, совсем невесомым.

– Здорово, Дальновид, – приветствовал его товарищ, сидевший на скамеечке перед печкой в теплом шлафроке и ночном колпаке. – Что, есть добыча?

– Нет, все тихо, – доложил Дальновид. – Ночевала она дома, и ты заметь – уже с неделю не уезжала. Сдается, мы сами себе морочим голову, брат Выспрепар, и сей роман нам примерещился. Ухтомский, похоже, ни при чем, а жаль. Надобно ли и дальше тратить время на эту дансерку?

– Пусть Световид решает, – сказал на это Выспрепар. – Это он разведал. Может статься, ошибся. А коли не ошибся и она ведет столь опасную для себя игру – а там речь, сдается, об очень больших деньгах, – то лучше бы во всем убедиться досконально. До чего ж театральные девки хитры… Садись, кушай фрыштик.

А сам продолжал подкармливать огонь щепочками и берестой.

– Один чай? Более согреться нечем? – Дальновид уселся и разломил большой калач с намерением помазать его плотную мякоть чухонским маслом. – Да! Слушай! Кое-кого я все же у того крылечка видел.

– И кого же?

– Дансера, как бишь его… Или фигуранта? Такой долговязый, с перебитым носом…

– Дансер с перебитым носом? Да что ты врешь!

– Вот те крест! Что я, перебитых носов не видывал? Совсем еще сопляк, ростом с коломенскую версту…

– А, знаю. Это Румянцев – тот, помнишь? Мироброд показывал – помнишь того долговязого, что в «Семире» на пол шлепнулся?

– Он? – удивился Дальновид. – Сей может знать нечто важное. Так вот – прибежал невесть откуда в одних туфлях и встал под ее окошком на часы. Стоял, глядел, потом удрал.

– Может, все-таки любовник? – предположил Выспрепар.

– Этого еще недоставало! Оно было бы пикантно… Только сдается – нет. Обожатель. Она осторожна.

– Для театральной-то девки – немыслимо осторожна. Да нас, сильфов, не проведешь! Стой, стой! Ты мне все бумаги замаслишь!

Стопка аккуратно переписанных листов лежала в опасной близости к плошке с чухонским маслом. Там же имелись два раскрытых лексикона, две чернильницы, линейка с карандашом, несколько черненьких томиков с узорными обрезами.

– А вот что, Выспрепарище, – сказал Дальновид, отодвигая плошку. – Может статься, этот, с перебитым носищем, как раз теперь нам и нужен. Он-то постоянно в театре, от нее поблизости, он мог до того докопаться, что нам и не снилось. Не напрасно же прискакал под окошко чуть не среди ночи. Что-то чаял увидеть.

– А статочно… – пробормотал Выспрепар. – Он бы, пожалуй, подтвердил домыслы Световида насчет князя Ухтомского – или же опрокинул вверх тормашками. Кого ж нам отрядить в театр, чтобы завел с ним приятельство?

– Мироброда? Он ведь и так из театра не вылазит.

– Дитя твой Мироброд. Все испортит. Он только сочинять горазд…

– А не испортит. Пусть Световид попросит его сдружиться с тем дансером, а потом и я в компанию войду.

– Резонно… Любопытно, что эта коломенская верста разведала!

Выспрепар, убедившись, что печка разгорелась, встал и оправил шлафрок.

– Я загадку изготовил! – похвалился он.

– Для Туманского?

– Похож ли я на человека, который станет сочинять загадки ради собственного удовольствия?

– Нет. Ты и на человека-то не больно похож…

Выспрепар засмеялся. Он был нехорош собой, причем догадаться, отчего его лицо казалось некрасивым, пока он молчит, было мудрено: все на месте, два глаза разумной величины, нос в меру длинен. Речь была ему противопоказана – губы кривились и диковинно выворачивались наружу. Смотреть неприятно. Начав приглядываться, зритель видел, что в Выспрепаровой физиономии словно бы схватились в смертельном поединке два лица – одно с двойным подбородком, с обвисшими щеками, принадлежавшее немолодому болезненному толстяку, и другое – с глубоко посаженными глазами, заостренным носом, высоким лбом – выше, чем полагается обычному человеку; такие лбы в Санкт-Петербурге – редкость, разве что заедет какой-нибудь тощий и глубокомысленный южный житель из Мадрида или же Лиссабона.

При этом Выспрепару было не более тридцати. И станом он полностью соответствовал образу светского щеголя – в меру полный, с округлым брюшком, с крепкими мускулистыми ногами.

– Я сильф, – сказал он. – Моя красота – нечеловеческая, тебе сего не понять.

Дальновид расхохотался, а Выспрепар взял исписанный листок и принял вид сочинителя, читающего свое творение в гостиных дамам. Он очень старался, но нужно быть великим актером, каким-нибудь парижанином Анри Лекеном, чтобы из вымученных виршей сотворить шедевр.

Была эта загадка такова:
От птицы я свое
Имею бытие,
А ремесло мое
Все делать то, что ум прикажет,
Что сердце скажет.
Мной в жизни множество прославилось людей;
Боится всяк меня, коль я в руках царей
Неправедных и злобных,
И у судей, тиранам сим подобных.
Велика ли я вещь; но многое творю:
Смех, слезы, счастье, смерть;
но днесь живот дарю
И благоденствие лию на миллионы,
Изобразив божественны законы,
Которы царствуют в Екатеринин век,
От коих океан бесценных благ истек.

– Все? – спросил, выслушав, Дальновид.

– Чего же более? Ну?

– Гусиное перо. А загадка и истрепанного пера не стоит. Хотя… дай-ка сюда…

Дальновид взял листок и выбрал из пятнадцати строк две, даже неполные две: «велика ли я вещь; но многое творю: смех, слезы, счастье, смерть…»

– Сие могло бы стать девизом сильфов, – сказал он.

Глава первая

Во всякой театральной уборной непременно стоит топчан. Там могут забыть повесить в углу Николая-угодника, могут пренебречь оконной занавеской, но топчан водворяется в комнату первым и сразу оказывается покрыт какой-нибудь древней овчиной, как будто вместе с ней на свет появился.

Чего он только не повидал за долгую жизнь, как только не служил актерской братии. Забулдыга-фигурант проводил на нем ночь, чтобы не плестись пьяным в мороз домой к Апраксину двору. Закрепив не имеющую запора дверь табуреткой, стремительно и отчаянно ласкали на нем друг дружку хористка и молодой оркестрант. И на нем же протягивал поврежденную ногу дансер, чтобы опытные товарищи могли ее растереть и поправить, замотав накрепко бинтом.

Санька приплелся в уборную первым – это был лучший способ прибрать к рукам топчан на краткий срок между репетицией и представлением.

Костюмеры уже разносили по уборным наряды воинов, рабынь, благородных греков и гречанок, адских духов и фурий.

В этот вечер шел старый балет «Адмет и Альцеста», поставленный лет шесть назад Джузеппе Канциани, которого по обычаю звали на русский лад Осипом Осиповичем, и он откликался. Нельзя сказать, что итальянец освоил русский язык в совершенстве, но он все-таки жил в России с семьдесят восьмого года, хотя, разругавшись в восемьдесят втором году с директором императорских театров Василием Ильичем Бибиковым, сбежал в Венецию. Но в восемьдесят третьем он все же вернулся и был принят в Театральную школу танцевальным учителем и немало добротной русской ругани обрушил на Санькину голову.

В «Адмете и Альцесте» Санька исполнял сперва роль бородатого раба в Адметовом доме, а потом, наскоро переодевшись, одного из шестерки адских духов, увлекающих на тот свет несчастную Альцесту.

Размалевывать рожу и чесать волосы не было необходимости – все равно сверху нахлобучивалась маска, сперва страдальческая, ибо раб оплакивал господина, потом страшная. Это первые дансеры и дансерки перед выходом на сцену завиваются, румянятся, пудрятся, навешивают на себя драгоценности. Вон Глафира не выходит без браслета и перстня, подарков государыни.

Санька натянул на себя штаны и чулки телесного цвета, положенные рабу, такой же корсаж, оставлявший руки голыми, и осторожно прилег, укрывшись темным плащом от костюма. Он собирался подремать хотя бы с полчасика.

Сонливость его вызывала у соседей по уборной всякие шуточки, и чаще всего товарищи изощрялись на тему непомерного роста. Мол, во сне малые дети растут, тебе-то куда? Или же – статочно, во сне иные телесные части в росте прибавляют, не в сем ли причина?

Топчан был коротковат, ноги торчали, ну да Санька привык.

Его разбудил громкий голос:

– Румянцев, сукин сын! Наш выход!

Выкрик этот как-то причудливо совпал со сном, в котором тоже был театр.

– Ну, ну, ну?! – звал пронзительный голос.

Танцевальные туфли ровненько стояли у топчана. Санька сунул в них ноги, спросонья стремительно рванулся вперед – и грохнулся. Туфли же остались на месте. Одному Богу ведомо, как товарищи исхитрились прибить их гвоздями к полу, не произведя при этом стука.

Раздался хохот. Товарищи реготали до слез.

Нравы в уборных фигурантов и дансеров невысокого полета были зверские. Санька еще дешево отделался – могли и накрошить в туфли битого стекла. Делалось это не по особой злобе

– а просто так заведено. Иначе быть не могло – слишком много скопилось раздражения против судьбы у этих людей, которые то задирали нос из-за своей принадлежности к высокому танцевальному искусству, то готовы были сменяться участью со сторожем при лавках Гостиного двора.

Санька успел выбросить руки и не слишком пострадал. Особая зловредность каверзы явилась несколько секунд спустя – когда по коридору пробежал мальчишка, костюмеров сын, выкрикивая:

– Господа береговая стража! Ваш выход!

Это было уже скверно – Санька не имел времени достать большой нож и отцепить туфли от пола. Все вскочили, стали выбегать из дверей, побежал и он, на ходу натягивая юбочку-тоннеле, расписанную в греческом духе, нахлобучивая маску, но – в одних чулках, моля Бога, чтобы надзиратель этого не заметил.

– Убью паршивца! – кричал Васька-Бес, гонясь за мальчишкой. – Надобно говорить: господа фигуранты!

Береговой стражей этих бедолаг звали неспроста.

Во всяком большом театре начальство заботится о декорациях едва ли не более, чем о мастерстве дансеров. Смажет первый танцовщик кабриоль или бризе, недовертит пируэты – о том можно будет после спектакля потолковать, опять же – публике развлечение. А когда декорации плохие, неяркие, грубо сработанные – публика сердится и спрашивает: за этим ли мы сюда шли?

Заднюю стенку большой сцены украшал обыкновенно гомерических размеров пейзаж, являющий собой местность, которой в природе не было и быть не могло, – непременно с высоченными горами коричневого тона, с зелеными холмами, на которых высились белые греческие храмы, с лугами и рощами. Он имел еще особенность – у подножия гор обязательно малевали синий водоем, иногда – озерный берег, иногда – морской. Когда морской – рисовали еще и парусник. Кордебалет, выгоняемый на сцену перед началом первого акта, стоял впритирку к холстине с пейзажем, да еще в ряд, – словно бы охранял море или озеро от покушений, или же сцену – от нападения морских пиратов. Оттуда и повелось – «береговая стража».

Сперва это было меткое словцо, родившееся в Париже. А потом стало обозначением когорты неудачников, ни на что более не годных, как при холстине состоять. Хуже нет, как если балетмейстеры о ком решат: сему только в береговой страже служить…

Должность у фигурантов была самая скучная – танцевать в фигурах. Балетмейстер расчертит мелом ходы по сцене, а ты завивайся в этих кругах, выстраивайся в прямых линиях, разбегайся в группы и стой в них, подняв руки и картинно отставив ногу. Еще счастье, коли в руки тебе не дали никакой дряни – пыльных гирлянд или деревянного греческого оружия. А рожу твою обыкновенно закрывает искусно сделанная маска – фавна, или тритона, или адского призрака. Так что вся береговая стража для публики – на одно лицо.

Греческие рабы выстроились возле старого пестрого задника с аттическим пейзажем и неизменным морским берегом. Санька в ожидании начала оглядывал неровный строй фигурантов и думал: чья пакость?

Кто-то один притащил гвозди, а прочие это одобрили. Ни одна сволочь не подошла, не встряхнула и не сказала: Румянцев, тут тебя подарочек ждет. Все затаились и ждали, пока долговязый Санька растянется во весь рост.

Кто? Васька-Бес? Этот был отменным прыгуном, пока спьяну не попал под конскую запряжку. Удар копытом в колено – и конец дансерской карьере. Пожалуйте, батюшка, в фигуранты! Бесом его прозвали за высокие прыжки – куда там итальянцам! Антраша с восьмеркой заносок, да таких четких, что каждая видна явственно, и двойной кабриоль – прощайте. Василий ныне может пройтись в менуэте, но не более того. Но для менуэтов нужны статные кавалеры, а Васька невелик ростом. После былой славы он озлобился на весь свет неимоверно.

Когда же это стряслось? Санька еще учился… Лет пять назад, поди. Вон он стоит, Бес, на кривоватых ногах и доволен – проучил того, чьи ноги – прямые, как у мраморного Аполлона.

Нет, скорее уж Петрушка, лентяй Петрушка, которого чуть ли не метлой на репетицию загонять надобно. Сколько раз предупреждали, что турнут из театра пинком под гузно! Лень – она хуже разбитого колена. Петрушка всех, кто занимается до седьмого пота, считает подлецами: они-де перед начальством выслуживаются.

Или Трофим Шляпкин? Этот – ветеран, еще в первом представлении знаменитого балета «Побежденный предрассудок» отплясывал, изображал Химеру, которую убивала копьем премудрая богиня Минерва. А было это в одна тысяча семьсот шестьдесят восьмом году! Санька еще на четвереньках ползал, поди, а этот – плясал. И все никак его из театра не выживут, хотя уж еле ноги подымает. И как же он молодым завидует! Сам в сем сознавался…

Бориска? Это – блаженненький, придурковатый, рот у него постоянно полуоткрыт, и береговая стража вечно изощряется – сам Санька сколько раз кричал: «Разиня, закрой рот, во рту мухи любятся!» О карьере Бориска не помышляет, какое место дадут – тому и рад, хоть весь вечер недвижно стоять с факелом, освещая адскую бездну. Но ведь убогонький не помешал товарищам приколачивать Санькины туфли к полу. Сидел и смотрел. А предупредить – и на ум не взошло. Впрочем, в уборной береговой стражи Бориска еще не самый худший. Зато самый грамотный – читает по-французски и полагает, будто публику следует не только развлекать, но и поучать. Безобидный чудак – однако не возразил и не предупредил…

Сенька? Сенька состоит при богатой купчихе и приезжает в театр на прекрасных санках, в бобровой шубе, выставляет напоказ преогромные перстни и цепочки. Купчиха – вдова, и Сенька очень старается, чтобы она с ним повенчалась. Ему дела нет до сложных отношений в уборной, до зависти и злобы из-за места в шестерке или восьмерке, которое досталось не тебе, а другому. Но и он одобрил каверзу.

А вот ему самому каверз не строят – после печального случая, когда подсыпали чихательный порошок в платок. На следующий день после того Петрушка не пришел утром на занятия. За ним посылали – лежал дома больной, еле двигался. Посланец предположил, что страдальца крепко поколотили палками. А кто – бог весть. Мало ли у богатой купчихи крепких молодцов в лавках? Петрушка ли подсыпал – тоже осталось неизвестным. Скорее всего.

Семен-питух – так его зовут, когда нужно отличить от красавчика-Сеньки. Питух и есть – на неделю может в запой провалиться. Был случай – театральный надзиратель велел его полуголого в сугроб сунуть для протрезвления. Помогло. Но когда Семен-питух не пьян (случается, по неделе, а то и по две), к нему дансеры с дансерками приходят – помоги, Семен Ильич, составить выход, чтобы блеснуть всеми достоинствами! Анюта не прыгуча, зато умеет хорошо вертеться, и Семен-питух придумывает для нее цепочку оборотовшене с изящным выбрасыванием ножки вбок. За то его и не вышвырнули пока из береговой стражи – человек полезный.

Сам Санька угодил в фигуранты глупейшим образом – из-за роста. Он был на хорошем счету у учителей, его иногда сам Канциани хвалил, но лет в пятнадцать вдруг принялся расти – и вымахал с гвардейского правофлангового. А куда его такого девать?

Танцовщики, как известно, могут подвизаться в трех жанрах – в благородном танце, в полухарактерном и в комическом. По осанке, повадкам, манере Санька бы годился в благородные – но с его ростом он гляделся бы при первой дансерке презабавно – все они маленького росточка, дансерке быть высокой неприлично. Для полухарактерного и страстного танца требуется средний рост, красивые пропорции, приятное лицо, а Румянцев длинноног, да и физиономия – не греческого Антиноя. Наконец комическому танцовщику приличествует малый рост – и тут промашка, хотя веселые танцы Саньке по душе и он в них отличается. Вот и взяли молодца в береговую стражу…

И никто не станет горевать, если через несколько лет долговязый покинет театр и сделается танцевальным учителем.

Покинуть сцену… а что в ней хорошего, в сцене-то?.. Запах разве что, в детстве волнующий душу, – запах клея, краски, древесины и чего-то еще, им только за кулисами и дышишь. А еще? Молоденьких фигуранток хоть высматривают обожатели, ждут их у театрального входа, шлют им цветы и подарки. Мужской части береговой стражи подарков никто не шлет. А если вдруг и пришлет – то купчиха, вроде Сенькиной. И боже упаси!

Нестройный шум в оркестре угас. Наступила тишина – как обыкновенно перед увертюрой. Шептавшаяся береговая стража – и та смолкла.

За кулисами – Санька не видел во мраке лиц, но очертания больших юбок угадывались, – собралась дамская часть береговой стражи, ждала выхода.

С ней дело обстояло несколько иначе, нежели с мужской, – если юноша после балетной школы выдвигался в соответствии со своим талантом, то девица – по причинам более земным. Вон та же Анюта – мало ли денег потратил ее откупщик, чтобы из фигуранток ее возвысили до дансерок, получающих танцевальные партии второго плана. Но Анюта умна – с кем попало в постель не ложится, да ей и незачем, а Дуня Петрова прошла в дансерки по смятым простыням немалого количества мужских постелей…

А вот Федьке на роду написано помереть в береговой страже.

Санька насупился – он знал, что Федька следит за ним из-за античной колонны или даже из-за плеча более рослой товарки.

Это был его тяжкий крест. Вся уборная потешалась: загонит она тебя в угол, схитрит, поведет под венец. Санька отругивался: да на что мне рябая; что я, с гладкой рожицей не сыщу? Но в уборной береговой стражи оправдываться бессмысленно – тут же всяких пакостей наговорят. И потому Санька старался избегать Федьку, хотя в детстве они даже дружили – пока девочка в шестнадцать лет, перед самым окончанием школы, не свалилась с жесточайшей оспой. Она выжила, не ослепла – и такое случалось, – но лицо было попорчено – не так, как у Гриши Поморского, у того по роже словно картечью выпалили, но порядочно, да и потемнело. С таким лицом в дансерки не пробьешься, хотя ноги у Федьки – как у Дианы-охотницы, сильные и ловкие, способные на всякий турдефорс.

И имечко неподходящее. Угораздило же родителей назвать дочку Федорой! Как-то все совпало – и родилась она 11 сентября, когда память преподобной Феодоры Александрийской, и в родне была всеми любимая бабка Федора, незадолго до того скончавшаяся. Кто ж знал, что дочь унаследует талант отца с дядей и будет выбрана для постижения танцевального ремесла? Да и окажет в нем успехи? А заново креститься не положено.

Ее, собственно, следовало бы звать Федоркой, но после болезни лицо сделалось, как у мальчишки, – тут уж сам Бог велел кликать Федькой. Первым до этого додумался Васька-Бес, прочие подхватили – имечко прилипло.

Как вышло, что Федька влюбилась в Саньку? Когда, за какие добродетели? До оспы или после? Но влюбилась основательно – и всю душу готова была вложить в заботу о нем. К тому же старше на два года – и, значит, в житейских делах поопытнее. Она могла купить избраннику новые чулки, бархатную ленточку – перевязать косицу, вышить ему платок, и все это проделывала без всякого стеснения, просто – приносила и вручала.

Об амурах с Анютой она, разумеется, знала. Ну так Анюта – замужняя, да и откупщик – при ней, под венец Румянцева эта дансерка не потащит. А у Федьки, как подозревала береговая стража, именно венчанье было на уме – и она прикармливала, задабривала, улещала Саньку, как будто новые чулки могли затмить ее рябое личико.

Вообще в береговой страже страсти кипели изрядные. Федькина подружка Малаша положила глаз на Ваську-Беса, а сам Васька хотел попасть в любовники к немолодой фигурантке Наталье, которая тоже ранее была дансеркой. Наталья имела тетку, написавшую на нее завещание, и много там чего поминалось. И домик в Коломне, и разные имущества. Но Наталья приблизила к себе лентяя Петрушку – почему, никто не знал. Петрушка ради нее оставил Ани-

сью, а та с горя сошлась с Семеном-питухом. Если укараулить тот миг, когда Семен получает за свои балетмейстерские приработки вознаграждение, и ловко отнять деньги, то с ним жить еще можно…

Отношения между береговой стражей и дансерами были именно такие, как положено: одни смотрели сверху вниз, другие злословили и даже строили мелкие пакости.

Имелась еще балетная молодежь, которая выпускалась из школы в фигуранты, но за год-другой начальство, присмотревшись, определялось в намерениях. Эту молодежь береговая стража своей до поры не считала. И впрямь – выпустится девчонка сопливая, через полгода глядь – а она уже утром на занятия в своем экипаже приезжает. И платьев у нее дюжина, и дорогие перстеньки завелись, и квартиру ей любовник снял чуть ли не на Невском. И хотя формально она еще в фигурантках, считать ее своей нелепо.

Или вот выпустился Ванюша Вальберх – как раз через год после Саньки. И тут же – в дансеры, и годовой оклад ему в шестьсот рублей положен! Дня в береговой страже не постоял. Пляшет, правда, отменно – не хуже самого господина Лепика, который еще прохлаждается в уборной – его выход в роли Геркулеса не скоро.

Первое действие началось с всеобщих пантомимических рыданий. Посреди городской площади лежал на смертном одре фессалийский царь Адмет – в кои-то веки вторую по значимости партию дали русскому, Александру Грекову. И весь Адметов добрый народ молил богов спасти ему жизнь. Явилась наконец царица Альцеста – госпожа Бонафини, окруженная подругами – двумя главными, Глафирой Степановой и Марией Грековой, и четырьмя второстепенными, одна из них – Федька. И первый акт, знакомый с детства, понесся, полетел!

Изобразив с товарищами скорбь злоедучую, Санька отступил за кулисы на левую, если смотреть из зала, «мужскую» половину, где на скамье уже лежали приготовленные наряды адских призраков, чтобы сразу накинуть поверх рабских: наглухо застегиваемые на спине коричневые кафтаны ниже колена с нарисованной на пузе страшной оскаленной рожей в языках пламени, маски с такой же рожей и палки с пучками рыжих и красных лент, изображающие факелы адского пламени; ежели правильно махать, то выходит похоже.

В это время главный жрец руками изобразил повеление оракула: Адмет будет спасен, если кто-то отдаст за него свою жизнь. Жрец пошел предлагать самопожертвование всем, кто на тот миг обретался на сцене, и все шарахались, но шарахались красиво и возвышенно, и даже в бегство пускались весьма грациозно. Санька с товарищами, дождавшись своей музыки, за спиной у жреца прыжками и потрясанием рук показывал, какой ужас ожидает человека, согласившегося заместить Адмета.

Скрипки заиграли выход госпожи Бонафини, которая одна не испугалась ленточных факелов и показала полную готовность умереть вместо супруга. При последних звуках она склонилась над одром Адмета, призраки склонились к ее ногам, образовалась выразительная группа и пребывала в неподвижности, покуда не сошлись полотнища занавеса. Первый акт завершился.

Сейчас следовало бежать в уборную и хоть зубами – да отодрать от пола танцевальные туфли. Но не удалось – коридорчик, ведущий к лестнице, загородил собой театральный надзиратель Вебер. Да если бы стоял! Он быстро шел к сцене, а голос его раздавался, как гром небесный.

– Где этот сукин сын Румянцев?! Я шею ему сверну! – рычал надзиратель. – Он у меня с голоду сдохнет!

Санька ужаснулся – за пляску в одних чулках могут наложить взыскание и в половину невеликого жалования, но сперва будет пара изрядных оплеух от Вебера, здоровенного дядьки. Нужно продержаться до начала второго акта. На сцену он драться не побежит. И Санька бесшумно кинулся в глубь сцены, за расписанный задник. Там при нужде можно было спрятать драгунский полк вместе с лошадьми.

Казалось бы, Большой Каменный театр открыт совсем недавно, откуда же взялся весь этот старый хлам? И отчего бы не выбросить половину, а нужное имущество составить в порядке? Но, видимо, порядок театру противопоказан, и все колесницы для античных богов, постаменты, колонны для храмов и висячих садов, беседки и царские ложа с балдахинами, лодки на колесиках и фальшивые пальмы в кадках громоздились как попало, и пробраться между ними мог разве что ангел бесплотный.

Догадываясь, что сейчас тут появится надзиратель и начнет гнусным голосом вызывать сукина сына на расправу, Санька поднырнул под позолоченные оглобли колесницы, протиснулся меж колонн, ударился лбом об угол постамента со статуей Меркурия и, шарахнувшись, завалился меж какими-то деревянными раскрашенными стенками. Он рассудил за лучшее там и остаться, а не мыкаться в потемках, пока на голову не свалится какая-нибудь гипсовая харя весом в пуд.

Главное теперь – при звуках музыки быстро выбраться из западни и оказаться в рядах береговой стражи. А потом… потом будет видно…

Но не музыка зазвучала – а милый, любимый, взволнованный голосок Глафиры чуть ли не возле уха.

– Передай ему на словах, пусть едет ко мне, а я сразу после спектакля домой буду. И пусть возьмет с собой вещи по моему списку, а у меня все готово, и тут же вместе уедем. Да скажи, чтобы не медлил! И так я вся извелась…

Был ли ответ – Санька не понял. Может, собеседник кивнул, может, буркнул «ага».

– Погоди! Меня после представления князь Трубецкой видеть хотел. Кто его знает, на что я ему понадобилась. Может, в домашний концерт позовет. Я зайду к нему в ложу и тогда уж домой поеду, так и передай, – просила Глафира, а в голосе-то была радость.

И опять незримый собеседник остался для него безмолвным.

Саньку взяло любопытство. Глафира назначали свидание у себя дома! Но кому, кому? Кто счастливец?

Рискуя произвести обвал, он протиснулся далее меж расписными стенками (это, сдается, была хижина из балета «Прибежище Добродетели») и увидел-таки Глафиру. Она стояла у фальшивого розового куста, глядела так, как смотрят, провожая взором уходящего. Санька вытянул шею – и от удивления разинул рот.

Он успел увидеть мужчину, наряженного так же, как он сам, адским призраком, и с такой же маской на голове.

Стало быть, посредник меж Глафирой и ее любовником служит в береговой страже? Вот это новость!

Раньше Санька никогда не видел, чтобы первая дансерка снисходила до кого-то из мужчин береговой стражи. К девицам была благосклонна, а мужчины для нее словно вовсе не существовали. Оказывается, кто-то знал ее тайну!

Решение было принято мгновенно – как только завершится спектакль, птицей лететь в уборную и прямо в танцевальном костюме, сунув ноги в валенки и накинув на плечи шубу, мчаться к Глафириному дому – караулить! Пропади все пропадом – нужно узнать, кто состоит в любовниках у недотроги! Узнать хоть, к кому ревновать!..

Лицо запылало – Санька прижал ладони к щекам, но ощутил матерчатые сглаженные черты жуткой маски. Сердце колотилось, как после быстрой пляски фавнов с прыжками на итальянский лад, когда ноги в воздухе резко сгибаются и мгновение висишь, словно в гранплие на первой позиции.

Пока Глафира была неземным ангелом – с Саньки довольно было бессловесного обожания. Но правы театральные сплетники – любовник есть! И это – рана, горящая рана в сердце! Что погасит огонь?

В голове у Саньки каруселью понеслись картины: он зовет соперника к полю, он пронзает соперничью грудь шпагой, он признается Глафире в любви, и она, изумленная, не может устоять! Отчаянная фантасмагория окутала его, словно кокономи, и в ней пребывая, Санька танцевал, кланялся, кидался за расписной задник, проскакивал между полотнищами, взлетал по лестнице, оттолкнул Бориску Надеждина, вручившего ему уже отцепленные от пола туфли, и сам не понял, как обулся.

Балет продолжался – вот уж и Геркулес оказался в аду, чтобы вызволить жену лучшего друга посредством стремительных пируэтов, вот уж и призраков он разогнал, и адского царя Плутона устрашил, и, выведя Альцесту, пустился с ней плясать победительную чакону. И, исполнив пляску воинов Адмета в последнем акте, Санька понесся наверх – и даже не переодевался, времени не было, и совал ноги в чьи-то валяные сапоги, чудом оказалось, что собственные, и хватая шубу, сбил с ног толстого надзирателя Вебера – и сам того не заметил.

Метелица ударила в лицо, снегом вмиг залепило глаза. Он побежал наугад, поскользнулся, удержался. Глафирин дом был недалеко от театра, а у фигуранта Румянцева, как язвила береговая стража, ноги длинные и голова легкая – чего ж не бегать быстрее породистого рысака?

Он остановился у крыльца, поднял голову – в квартире Глафиры горело одно окошко. Там, надо думать, хозяйничала ее горничная. Никаких любовников поблизости не было – то есть не было саней, в которых проклятый риваль мог бы прикатить. А ведь ему велено быть сразу после представления… да еще с какими-то вещами по списку…

Румянцев отошел на такое расстояние, чтобы видеть крыльцо и при нужде достичь его в три прыжка. Он стал прохаживаться, еще не зная, как себя вести, когда подъедет Глафира на извозчичьих санках или любовник (тут воображение представило прямо-таки царскую карету). Если сперва явится Глафира – бежать к ней с вопросами нелепо, она просто откажется отвечать. А если любовник…

Румянцев был не драчлив. Переломанный нос – следствие чуть ли не детской потасовки, двенадцатилетние парнишки мерились силой в неподходящем месте, в зале для репетиций, упали, покатились, налетели на дверной косяк. А после того вроде не было никаких стычек. И оружием он не владел, разве что малой шпагой и рапирой – в пределах, необходимых артисту, чтобы создать видимость смертного боя.

Так что же делать с любовником? Или ничего не делать? Лишь убедиться в его существовании? Как все нелепо и несуразно…

Допустим, сейчас подкатит экипаж и оттуда выскочит молодой красавец гвардеец, накинутая на плечи епанча вскинется, заплещет на ветру, и он исчезнет в отворившейся двери, как черный крылатый демон. Его там ждут, для него натоплена в спаленке печь и накрыт стол. И постель убрана…

– Все, все, с этим покончено, – вслух сказал Санька, имея в виду свою бессловесную любовь. Увидеть гвардейца, или кто он там, увидеть – и вырвать из сердца эту отраву! Глафира – такая же, как все, как Анюта, и точно так же, ложась в постель, медленно стягивает с белых ног чулочки, улыбаясь зазывно… ничем не лучше, ничем!.. поди, и деньги от любовника берет… как Анюта у своего откупщика…

Много всякой гадости пришло на ум, пока Санька болтался взад-вперед, ожидая смертельного удара прямо в душу. Но не подкатили санки, не подъехал экипаж, окна в Глафирином доме гасли – жильцы укладывались спать. Пришли пешком припозднившиеся соседи – и все…

Часы у Румянцева были, Анюта подарила, но в театр он их не брал, не выхвалялся, как купчихин Сенька. Стянут – и глазом не моргнут, да еще хором поклянутся, что никаких таких часов не видали. Не брать же их с собой на сцену. Сенька может и дорогую табакерку на видном месте оставить – не тронут. Потому что у купчихи в лавках служат крепкие молодцы – и она, не докапываясь до правды, пошлет их сделать палочное или кулачное вразумление тому, с

кем на тот час ненаглядный Сенюшка в ссоре. А за Румянцева никто не вступится – он, поди, приколоченные к полу туфли проглотил и утерся…

А были бы при себе часы – можно было бы понять, сколько времени Санька топчет валенками снег. Полчаса, час? Может, и вовсе скоро утро? Да нет – Глафирина девка еще не ложилась, вон, свечка одинокая оконное стекло освещает.

Холода он не ощущал – ходил довольно быстро. Наконец голову посетила мудрая мысль – у Глафиры и ее любовника изменились планы. Что-то она говорила о вещах по списку – может, куда-то собралась ехать? Так он прибыл с вещами к театру, оттуда ее и забрал… темное дело…

Покараулив еще немного, Санька дождался того, что горничная погасила свечку. Она уж точно знала о затеях хозяйки! Коли легла спать – значит, хозяйку уже не ждет!

Румянцев вздохнул и побрел обратно в театр, предчувствуя неприятности.

Ему повезло – сторож у черного входа отлучился, удалось проскочить и бесшумно подняться в уборную. Там уже никого не осталось – береговая стража разошлась, но незримо присутствовала, и потому Санька внимательно, насколько это возможно впотьмах, исследовал свое платье – не подсунули ли сволочи в карман какой дряни, не зашпилили ли изнутри рукава фрака, а то еще пошла мода смачивать рукава сорочки и завязывать их прочнейшим узлом.

Убедившись, что на сегодня собратья ограничились приколоченными туфлями, Санька стал снимать театральный наряд. Туфли с дырявой подошвой, кстати, исчезли – и если они выброшены в сугроб неподалеку от театра, то за них придется держать ответ…

Повесив костюм, Санька вспомнил про маску. Когда он ее сорвал, куда подевал – вспомнить не удавалось. Если рассуждать логически – то вбежав в уборную, в краткий миг между запихиваньем ног в валенки и накидываньем шубы на плечи. Движения, которым была схвачена шапка, Санька тоже не помнил. Маску, видимо, отбросил, а драгоценные товарищи подобрали. Ох, еще с ней будет катавасия… туфли-то приобрести нетрудно, а маску придется заказывать мастеру, коли пропала безвозвратно…

Он присел на топчан и задумался – надобно ли вообще уходить? В доме, где он квартировал с матерью и младшим братом, все двери, поди, заперты. В уборной тепло, да истопник оставил у печки охапку дров, чтобы за ночь подсохли. Правда, хочется есть, ну, так это не беда. Танцовщику поголодать полезно.

Он заснул, видел всякие ужасы и страсти, проснулся с бьющимся сердцем, ощутил неимоверный голод. Время было непонятное. Санька осознал свою ошибку – следовало, собравшись с духом, идти домой, а не заваливаться на топчан. Теперь на пустой желудок придется утром заниматься. Внизу у сторожа наверняка есть провиант, а уж большой медный круглый сбитенник – несомненно, он всем известен. Из его изогнутого носика можно хоть налить кипятка в кружку, добавить меду – вот уже и вкусно, горячо и сладко. Но сторож наверняка спит – на таком же куцем топчанчике. Можно сбегать за сбитнем на Сенную – там задолго до рассвета начинается суета. И пирог там же купить…

Санька сунул ноги в валенки и подошел к невеликому окошку. Оттуда был виден крутой изгиб Екатерининской канавы. И – ни души…

Кой час, люди добрые? Он еще помаялся на топчане, сон не шел, душа была в смутном и очень неприятном состоянии – будто кусочек в ней закоченел и умер, теперь его нужно бережно отделить и выкинуть, а не получается. Не то чтобы боль, не то чтобы до слез, до крика – а тошно…

Видимо, и от безнадежной любви можно устать – раз и навсегда. Ну, есть у Глафиры любовник, как же без этого… Ну и раньше-то не было особой надежды… А теперь придется, встречая в театре, проскакивать мимо, потому что смотреть на нее – как ножом по сердцу…

Вдруг Саньку осенило – никакого сбитня на Сенной, а нужно бежать домой, потому что мать наверняка беспокоится. Две ночи подряд пропадать – это уж многовато.

Про Анюту он ей рассказал, она не одобрила, но как-то стерпела. Но Анюта осторожна, и мать это понимает. Сейчас она, скорее всего, не спит, волнуется. Значит, домой, в жаркую комнатку, на перину.

Пока он размышлял, и впрямь началось утро. А началось оно с того, что в театральный двор привезли два воза дров. Сторож отпирал ворота, возчики заводили лошадей, ставили удобным образом сани, подошли предупрежденные с вечера истопники.

Темное утро и распахнутые ворота, мелькающие силуэты неуклюжих людей в тулупах, мечущий желтые пятна фонарь – можно проскользнуть незаметно и торопливой походкой устремиться прочь, моля Бога, чтобы скорее эта безумная и бестолковая ночь кончилась.

Глава вторая

Надежда – странное создание. Померев вечером и упокоившись в чугунном гробу ночью, утром она, как ни в чем не бывало, щебечет и крылышками бьет.

И впрямь – женщина, имеющая одного любовника, может в скором будущем завести другого. Старый мудрый скрипач Гриша Поморский, собаку съевший на театральных интригах, однажды выразился так:

– Счастье театральной девке, когда во всю жизнь ограничится одним мужчиной. Коли появится второй – недалек день, когда появится и сто второй. Вот разве что она совсем уж ни рыба ни мясо…

Если Глафира способна заводить любовников, то может дойти очередь и до Румянцева. И точно дойдет! Именно тогда, когда прежнего огня в его душе уже нет, а есть уязвленное самолюбие, которому одно лекарство – торжество победы. С женщиной, имеющей любовников, церемонии не надобны, пылких и страстных взоров через всю сцену она не понимает, к ней нужно прийти и взять ее, как ту же Анюту, – это она понимает…

Сочинив в голове целую картину такого бесцеремонного и даже бессловесного взятия (при этом – наворачивая ячневую кашу с постным маслом), Санька дал матери слово, что на сей раз явится домой в приличное время, переменил сорочку с чулками и поспешил в театр.

Но не сбылось. Да и не могло сбыться. Сгорела надежда ясным пламенем возле той лестницы, что ведет к коридору, куда выходят двери мужских уборных. Румянцев уже на ходу распахнул шубу и прикидывал, успевает ли к началу занятий, когда пришлось остановиться.

– Саня! – окликнула его Федька, выходя из темного уголка под лестницей.

– Бонжур, – отвечал Санька, полагая, что этой любезности довольно. Однако она заступила путь. Это уж совершенно некстати – Федька с ее любовными изъяснениями. Нет, вслух она о страсти нежной не толковала, но взгляды, но это заметное стремление встать поближе, прикоснуться хоть к рукаву… противно, черт бы ее побрал…

На сцене, в нарядном коротком платье, открывавшем ногу на пол-аршина, да еще набеленная толстым слоем и нарумяненная, Федька могла понравиться не только простаку в партере. Сейчас же, умытая, с убранными в косу волосами, кутаясь в старую шубку, она была непривлекательна – и Санька боялся, что даст ей это понять чересчур откровенно.

– Саня, ты где вчера маску оставил? – спросила Федька.

– Какую маску?

– Танцевальную…

Санька задумался. Была ли на нем маска, когда он ворвался в уборную? Как оно получилось? Влетел, кинулся к стоявшим у печки валенкам… Где то движение, которым снимают маску, где?

– Не знаю, – сказал он. – Ей-богу, не знаю. Что ты ко мне пристала с этой маской?

– А где ты был после представления?

– Какого черта ты меня допрашиваешь? Поднялся в уборную, потом пошел домой. Тебе довольно?

– Тебя не было дома, ты пришел заполночь?

– А ты почем знаешь?

Федька смотрела на него с каким-то загадочным недоверием.

– Пусти-ка, – попросил Санька. Впереди было объяснение с товарищами, с надзирателем, а тут еще эта обожательница.

– Саня, ты и впрямь не знаешь, где маска?

– Да на что она тебе?

Федька опустила голову. Менее всего беспокоясь о ее странной блажи, Санька отодвинул девицу и проскочил мимо нее на лестницу. Но сбежать не удалось – Федька, не менее ловкая, чем он, ухватила его за подол шубы.

– Стой, дурак! – приказала она. – У нас беда стряслась.

– Что за беда?

– Стой, говорю. С Глафирой – беда.

– С кем?! Да что ты молчишь?! Говори внятно!

– Саня, ее больше нет.

– Как – нет? Где – нет? Так он…

Санька чуть было не выпалил: так он, проклятый риваль, увез ее прямо из театра, не заезжая к ней домой? Но удержался.

– Ты знаешь, кто он? – быстро спросила Федька. – Коли знаешь – беги в дирекцию, говори! Там сейчас полицейские сыщики сидят, всех по очереди вызывают! Да беги же! Все расскажешь и оправдаешься!

И ее рябое лицо преобразила радостная улыбка.

– Погоди, погоди… – до Саньки стало доходить, что они с Федькой имеют в виду не одно и то же. – В чем мне оправдываться – я же ее не увозил! Или…

– Саня…

– Что – Саня?

– Ее больше нет. Ее утром мертвую подняли.

– Что ты врешь!

– Ей-богу! За расписным задником, знаешь, где колесница Аполлона. Ее шнурком удавили. А рядом твоя маска валялась.

Этого было слишком много для быстрого понимания.

– Плотники пришли глуар чинить, там золоченое крыло отвалилось, и на нее наткнулись.

– Какой Аполлон, какой глуар?.. – бормотал Санька.

– Я тебя нарочно ждала – перехватить. Они там, в дирекции, думают – это ты…

– Я? Что – я?..

– Ну, ты… все же знают…

– Я ее не увозил, – сказал Санька. Некий умозрительный человек, (а, может, ангел-хранитель) засел в голове и твердил: Глафиру увезли, оттого дирекция послала за полицейскими, слыханное ли дело – похитить первую дансерку… А все дурное этот ангел отметал в сторону белым крылом – или же умозрительный человек отмахивался, как от осы… то-то радости было, когда на театральном чердаке отыскали осенью осиное гнездо…

– Санька, ты что, не разумеешь?

– Нет… да…

Глафира не могла умереть. Ведь столько было наобещано Санькиными страстными мечтами! Все могло перемениться – с любовником поссорилась, на обожателя обратила внимание, и не век же ему торчать в береговой страже, ему всего двадцать лет, еще немного – и все было бы позволено!

Санька разрыдался, как малое дитя. Он отпихнул Федьку, что кинулась утешать, и выскочил на улицу. Обида заполнила, как вскипающее молоко. За то, что Глафира дважды оставила его, за то, что лишила надежды навеки – и все мечты недействительны…

Саньку обокрали. И он оплакивал кражу с яростью трехлетнего дитяти. Федька выскочила следом, но подойти не решалась. Глафиру она недолюбливала – и из-за Саньки, и потому, что видела – изящная дансерка навела на всех какой-то морок, и ей прощают танцевальные оплошности из-за непобедимого обаяния; Федька же, недавно сделавшая в зале при свидетелях безупречный пируэт «алескон» в два оборота, никому не нужна – нет в ней обаяния, лишь

одна рябая рожа. И вот сейчас на душе понемногу воцарялась радость: Санька нуждался в ее помощи! Не в маленьких подарках или повседневной опеке, а в настоящей помощи.

Что Федьке известно про это дело? Она утром прибежала одна из первых и пошла в зал, чтобы до прихода товарок разогреть ноги. Степан Афанасьевич уже растопил печку подсохшими за ночь дровами и принес новую охапку – чтобы сохли потихоньку. Федька поздоровалась и стала в одиночестве потихоньку заниматься, вводить себя в то состояние, когда правильные четкие движения стоп доставляют радость. Степан Афанасьевич пошел разносить дрова по уборным. Вдруг Федька услышала грохот. Она испугалась – не сорвался ли старик с лестницы вместе с дровами. Выскочив, услышала внизу шум. Спустившись на пролет, увидела и разбросанные дрова, и остолбеневшего истопника, и свою подружку Малашу, сидящую на ступеньках и рыдающую.

Уразумев, что произошло, Федька прежде всего забеспокоилась – каково переживет беду влюбленный Санька. Она решила встретить его на подступах к театру и осторожно подготовить к дурному известию, но, к счастью, не успела убежать – ее схватил за руку Васька-Бес, тоже приходивший довольно рано, и спросил о маске.

Васька знал, что Федька влюблена в Румянцева, и дай волю – будет штопать ему чулки. Видел также, как она недавно возилась с Санькиной адской маской, подгоняя ее, и хотел узнать – есть на ней хоть какие-то метки? Она действительно была помечена изнутри двумя буквами: «АР».

– Слава богу! – воскликнул Васька. – Так я и думал! Так бы нас всех трясти принялись, а теперь ясно, кто ее там обронил!

– И что, прямо у тела? – спросила изумленная Федька.

– Возле юбок, Царствие Глафире Небесное. Надо ж таким олухом быть…

– Он ее не убивал! Зачем ему?

– А не знаю! Мало ли что промеж них вышло.

– Ничего промеж них не было!

– Будет врать-то! Допрыгался наш голубчик. Мы-то думали – не с ума ли спрыгнул, смотрел на нее, как бешеный, пропал после представления, костюма не сдал, а он, вишь, Глафиру выслеживать побежал.

Тут Федька возразить не могла – про Санькин побег из театра в танцевальном костюме она не знала.

Потом прибежали из дирекции. Отвели ее в комнату, где сидели два полицейских сыщика, и она поклялась, что в последний раз видела Глафиру после представления, когда публика уже разошлась. Дансерка навестила кого-то из зрителей в ложе и шла в свою уборную. Федька же задержалась на сцене – искала потерянный во время танца кусок цветочной гирлянды с юбки, кто-то его отпихнул ногой, чтобы не помять, и куда он улетел – неведомо, а наряд сдавать костюмерам, и он должен быть цел.

– Стало быть, четверть часа спустя после окончания она была жива? – уточнил полицейский чин. – А как она шла в уборную?

– Она была в ложе на мужской стороне, – честно ответила Федька, – а на женскую сторону удобнее всего перебежать по сцене.

– Вот тогда-то ее и подкараулили, беднягу. А где в ту пору был Румянцев?

– Не знаю…

Ей бы соврать – ждал у лестницы, но ложь не сразу пришла Федьке на ум – а лишь когда ее выпроводили из комнаты.

Так получалось, что до определенного момента Глафиру видели в театре живой. А потом, уже утром, нашли мертвой. А Саньку не видели после его бешеного бегства вообще. Просто не поняли, куда он подевался. Про его любовь слухи ходили, Глафирина неприступность могла

бы и ангела довести до безумства. И эти взоры, которые, оказывается, всеми замечены… И эта проклятая маска…

Все было ужасно и непонятно, однако для Федьки открывались такие возможности, что впору бежать в Божий храм ставить свечку во здравие тому, кто избавил театр от Глафиры.

Санька стоял лицом к стене, едва ли не упираясь лбом в холодный камень, и слезы потихоньку иссякали. Федька подошла со всей осторожностью, молча постояла рядом и дождалась, пока избранник души к ней повернулся.

– Сань, ты где был после представления? Есть кто-то, кто тебя видел и мог бы сказать: да, с Румянцевым вместе ужинали?

– Иди к черту…

Федька не обиделась – она все понимала. Только поплотнее запахнулась в шубку. Ноги мерзли – она ждала избранника в танцевальных башмачках, в них и выскочила на снег. Но оставить его сейчас фигурантка не могла.

Она видела любимый профиль, который уже наловчилась рисовать на затуманенном стекле: нос с заметной горбинкой, чуть более обычного выдающиеся вперед губы – если смотреть спереди, то очень красивого рисунка, и изящный подбородок, и чуть более глубоко посаженные, чем у греческих аполлонов, глаза – вот только длинные ресницы, на которых под солнечным лучом появлялись золотые точки, палец изобразить не мог.

– Ты пока побудь здесь, встань вон там, за углом, а я схожу узнаю, что у нас делается, – сказала Федька, и он послушался.

Поблагодарить ее за заботу ему и на ум не взошло. Она не обиделось – ясно же, что не до любезностей.

В театре фигурантка пошла смотреть то место, где нашли мертвую Глафиру. Она полагала увидеть там по меньшей мере половину труппы – и оперных, и балетных, и музыкантов. Тело уже убрали, но знатоки показывали, как именно оно лежало и где была румянцевская маска.

– Это точно он! Я давно приметил, что-то неладное задумал, – такую речь держал Трофим Шляпкин. – Уж как он ее всюду высматривал! А ей-то на него начхать! Так ему и объявила: мне на тебя, вертопраха сопливого, начхать! Ну а кто ж такое стерпит! Он тогда и опомнился, как она уж мертвая лежала!

– Она ему это раньше сказала – а он терпел, терпел, а как занавес упал – ускакал, как ошпаренный! За шнурком побежал, не иначе, – возражал Сенька. – Что бы ему не дурью маяться, а посвататься к какой горячей вдовушке? И горя бы не знал! А первая-то дансерка – не про него, нищеброда!

Федька слушала, не показываясь на глаза, и уже задыхалась от злости – вот точно то же эти сволочи говорили полицейским сыщикам!

И тут ее осенило – шнурок! Поскольку его не раз поминали, то, выходит, он был найден при теле. Если этот шнурок оторван от танцевального костюма – то еще надобно узнать, от которого! А если он совсем посторонний – то, значит, кто-то его принес нарочно, замышляя убийство. Нужно было бежать к костюмерам, разглядывать Санькин костюм.

В мастерской Федьку знали – там ее крестная трудилась. Можно было прибежать, словно с новостями, и добраться до больших вешал, на которых висели костюмы труппы – оперные отдельно, балетные отдельно, каждый спектакль – особо.

Федька и понимала, что ее избранник на убийство не способен, и безумно боялась, что в костюме обнаружится недохватка тесемочки или шнурочка.

Крестная, Агафья Антоновна, знавшая, как и весь театр, про Федькину любовь, обласкала фигурантку и потихоньку провела ее к костюмам вчерашнего представления, которые нужно было оглядеть и развесить в правильном порядке.

Санькин адский кафтан с рожей на пузе был самый длинный. И воинский наряд – тоже. Ничего подозрительного на них не обнаружили.

– Так ведь шнурок у нас где угодно можно взять, – сказала Агафья Антоновна. – Может, он на полу подобрал, и тут ему в головку дурь вошла?

– Так и ты, тетенька, думаешь, будто это он?

– Весь театр так думает! Кому бы еще? Да на черта всем эта Глафира сдалась, один твой дуралей с нее глаз не сводил! Держись ты, Федорушка, от него подалее! А то гляди!

– Что – гляди?

– Не потащилась бы ты за ним в каторгу…

– И потащусь! – выкрикнула Федька и убежала.

Положение было ужасное – вроде и жил Румянцев без врагов, а как стряслась беда – весь театр ему недруг! Как один ополчились! И защитить некому. Кроме одной дуры рябой, которую никто слушать не станет.

Из-за убийства Глафиры занятия в зале все никак не начинались, девицы из береговой стражи стояли у палки и, обсуждая событие, лениво разминали ножки. Федька заглянула туда – и поняла, что сегодня заниматься не сможет, не до того. Мысли возникали одна другой причудливей: увезти Саньку в деревню, где его не найдут, или вовсе как-то спровадить его в Москву – там у него родня, или бежать на Васильевский, к дедову шурину, который не раз похвалялся, что у него-де в полиции есть и брат и сват.

И лишь самой последней явилась мысль – узнать все-таки, куда Санька сбежал после представления и где пропадал. Коли у Анюты – это было бы счастье! Та к нему привязалась, должна сказать правду полицейским!

Федька пошла ее отыскивать и нашла в уборной вторых дансерок. Она там сидела с Дуней Петровой, ожидая, пока позовут в зал.

– Чего тебе, Бянкина? – спросила Анюта.

– Поговорить надо.

– Не о чем вроде.

– Есть о чем.

Федька понятия не имела, как приступиться к пикантному разговору, и от неловкости глядела в пол.

– Так это у нее Санька Румянцев на уме! – догадалась Дуня.

– И что? – Анюта, хорошая актерка, притворилась, будто не понимает.

– Может, ты, сударыня, скажешь… скажешь, где он был после представления?.. – неуверенно спросила Федька.

– А не скажу. Потому что не знаю. Да и знать не могу, – твердо ответила Анюта.

– Так, может…

– Не может! И заруби на носу своем дырчатом – слышать я о нем больше не желаю. Так-то. Еще недоставало, чтобы полиция…

– Так он у тебя был?!

– Нет, говорю тебе! Вот ведь дура, простых вещей не понимает! Не было его у меня – и отродясь не бывало!

– Ступай, ступай, – сказала Федьке Дуня. И прищурила левый глаз. Это означало – дождись меня, кое-что скажу.

Фигурантка выскочила из уборной. Ну конечно! Коли поднимется шум – Анютин покровитель может узнать про ее шашни с Румянцевым. И прощай счастливая жизнь!

К дверям спешила Наталья Макарова – несла новость Анюте.

– Слыхала, Бянкина? Что открылось! Румянцев дома не ночевал! Полиция к нему ходила – так его матушка-умница побожилась, будто прибежал сразу после представления и спать

улегся, а братец-то и выдал! Так и сказал – перед самой заутреней старшенький-то явился, зол был – как черт!

И Наталья ворвалась в уборную – праздник-то какой, можно услужить Анюте Платовой. Та не скупа, отплатит – юбку надоевшую подарит, сорочку с порванным кружевцем. У нее-то их на весь театр станет, и на береговую стражу, и на хор.

Да и все будут Анюту выгораживать – в ожидании награды за преданность.

А если Федька попытается объяснить полицейским сыщикам, что Санька провел полночи у Анюты, – весь театр против нее выступит… Все, чего она добьется, – это нагоняя от начальства.

Федька прислонилась к стене. Значит, слов более не надобно. Надобно действовать. А как?

Из уборной вышла Дуня Петрова, как и Федька – в шубке внакидку и всего в двух юбках, чтобы удобнее было заниматься.

– Пошли, – велела она и, приведя фигурантку в тихий закуток, сказала прямо:

– Не будь дурочкой, Бянкина. Платова тебе не помощница. Коли хочешь ему пособить – беги, ищи деньги. У вас в береговой страже есть Семен-питух, он за деньги родную мать продаст. И другие тоже… Докопайся, где тот же Семен вечером шлялся, уговори его – будто он вместе с твоим обалдуем шлялся да на похмельную голову позабыл.

Федька ахнула – вот ведь где друг подлинный сыскался!

– Я тебе этого, Дуня, не забуду, вот те крест!

– То-то все вы, молодые дурочки…

Самой Петровой было уже двадцать пять или даже двадцать шесть. Тоже не красавица, право танцевать вторые партии всеми средствами доказывала. А первых ей все равно не видать – ибо не француженка, не австриячка и не итальянка.

– А Платову не трогай, ей и без тебя тошно, – добавила Дуня.

– А ты как думаешь – кто Глафиру-то?..

– Это дело темное. Оно, может, вообще никогда не откроется, – подумав, сказала Петрова. – Глафира уж больно много скрытничала. Кабы с нами делилась – мы бы теперь все сыщикам и доложили, и злодея бы они поймали. А так… сама видишь…

– Но ты ведь не веришь, будто это Румянцев?

– Верю! Я, Бянкина, такое в жизни повидала – что парень сгоряча мог зазнобу удавить, верю! – с неожиданной яростью выпалила Дуня. – Хоть у твоего Саньки и кишка тонка на такое дело… Мог, вконец одуремши…. А потом к Анютке кинуться – с перепугу, и полночи с ней маяться…

– Да нет, Дуня, что ты, Господь с тобой! А если он скажет сыщикам в управе благочиния правду – был, мол, с любовницей? Платова, конечно, станет отпираться…

– Ну так обойдется это Анюте в две или три сотни. Одно ее ожерелье дороже стоит. Она уже и теперь припоминает, через кого можно встречу с обер-полицмейстером устроить. Я ее знаю, она ловкая! Может, и не деньгами расплатится. Так ты беги, выручай уж своего болвана, дурочка, а то его в каторгу погонят – и ты в петлю полезешь.

И Федька, поцеловав Дуню в щеку, помчалась на мужскую половину – высматривать Семена-питуха.

Но, пока добежала, сообразила: если Семен согласится, ей этого паршивца всю жизнь поить придется. А зато есть другой человек – который поможет не ради денег, а по своей несуразности. Его можно выманить и все ему растолковать. Ну и заплатить, разумеется – немного, совсем без денег тоже нельзя.

Имелась в Федькиной жизни одна нелепая история, за которую было немножко стыдно. Года полтора назад ей показалось, что Санька уже готов проявить здоровую мужскую благосклонность. Первым делом Федька испугалась – как же на нее отвечать? От товарок-фигуран-

ток она знала, что любовнику в постели надобно угождать, и про всякие ухватки наслушалась. Но сама опыта не имела ни малейшего, даже ни с кем не целовалась – в береговой страже она не пользовалась успехом, а из публики время от времени интересовались какие-то гадкие люди, на которых и смотреть-то было тошно, а не то что в постель с ними ложиться.

Бянкина, бывши почти на два года старше Саньки, понимала – он будет ждать от нее хоть какой-то опытности, а она по сей части бестолкова – дальше некуда! И нет же в столице кого нанять, как нанимают помесячно, скажем, музыкального учителя. Первая ночь с Санькой могла стать и последней – если ему не понравится. А этого Федька не хотела.

Характер у нее был стойкий, боли она не боялась – это для танцовщицы вещь привычная, и учеников даже учат выверять по ней движения: когда, встав в аттитюду или в арабеск, ощутишь ее – значит, поза схвачена верно. Если отнестись к амурной близости как к танцу – то можно ее постичь тем же методом: перед тем, как блистать на сцене, танец многократно проходят в зале, и публика этой черной и потной работы не видит; равным образом перед тем, как оказать себя умелой и страстной любовницей в румянцевской постели, надобно отрепетировать все ухватки в постели иной…

Самое забавное – избранника она сразу наметила, без всяких колебаний. Это был чудаковатый и придурковатый Бориска. Про него было известно, что жил с квартирной хозяйкой, старше него лет на двадцать. Сам он этими делами не хвастался – и был белой вороной в береговой страже, где мужчины считали долгом регулярно докладывать о похождениях.

Бориска Федьке нравился тем, что не путался в интриги, мало пил, почти не ругался, старался быть любезным. А то, что губы вечно полуоткрыты и взор блуждающий – полбеды. Отношения между мужской и женской частью береговой стражи были приятельские – то и дело возникали амурные приключения, но завершались они обычно без скандалов. Поэтому Федька приступила к маневрам без затруднений – договорилась с подружкой Малашей, которую обыкновенно ставили в пару с Бориской, и сама стала с ним танцевать…

После третьей или четвертой совместной репетиции они случайно заговорили о песенках на слова покойного Сумарокова, которые все еще были в моде и исполнялись в домашних концертах, а поскольку от выпускника Театральной школы требуется много умений, в том числе и певческое, то и Бориске, и Федьке доводилось исполнять стансы о нежных пастушках. Разговор оказался увлекательный, был продолжен на улице и даже у Бянкиной дома – она жила у родни, совсем близко от театра. Слово за слово – оказалось, что Бориска пишет книгу! И не простую, а «Танцовальный словарь».

– Публика простых вещей не понимает, – говорил он увлеченно, и даже физиономия в тот миг была выразительной, почти умной. – Названия танцев многие не знают, откуда они взялись, каков должен быть настоящий балет. Когда публика поумнеет, станет требовать от балетмейстеров, чтобы все служило действию, а не то что теперь – все наши первые дансеры и дансерки говорят: я должен исполнить паспье, потому что я всегда его исполняю, а я – тамбурин, оттого что одна я отплясываю его в этом театре и другой особе не уступлю! Нужды нет, что плясала его еще покойница Камарго! И вот наш балет все более похож на петровскую кунсткамеру с уродами и реликвиями времен доисторических.

– Какие ты страсти говоришь! – Федька даже поежилась. Она как-то на спор побывала в том зале кунсткамеры, где выставлены заспиртованные уроды, и насилу оттуда убралась; более же всего ее поразили не двуглавые и шестиногие младенцы, а дама средних лет, которая жадно разглядывала банки с монстрами.

– А промежуток между актами? Ты когда-нибудь думала, что он значит для публики? – спросил Бориска.

– Отдых от наших антраша, – тут же нашлась Федька.

– Он необходим – для перестановок на сцене и для переодевания дансеров с фигурантами. А теперь вообрази зрителя, который только что был растроган до глубины души проща-

нием Гектора и Андромахи, Орфея и Эвридики, у него слеза на глазах, и тут оркестр начинает бойко играть паспье, или ригодон, или даже тамбурин, под который ноги сами начинают притопывать. Значит, Лепик с Бонафини зря старались – ничего от их танца у публики в голове не остается. Проклятый ригодон исполнен, занавес подымается – и оркестр с легкостью необыкновенной тут же переходит к печальной и похоронной ритурнели!

Бянкина даже заслушалась – так складно Бориска толковал о театральных делах. Видимо, придурковатость была мнимой – просто человек все время старательно размышлял, забывая придавать умный вид своей роже и закрывать хоть ненадолго рот.

Это облегчало задачу – умному человеку можно и правду сказать.

Она, смущаясь, пожаловалась, что Румянцев на нее и смотреть не хочет, высказала опасения насчет своей неопытности и, наконец, прямо попросила помощи.

Бориска, добрая душа, не отказал. И за месяц они раз пять сходились по-товарищески. Но проку не вышло – как раз тогда истомившегося по Глафире Саньку прибрала к рукам Анюта Платова, и Федькины труды пошли прахом. Зато она знала Борискину тайну – и никому не выдала.

Вот о нем-то Федька и подумала, и так и сяк поворачивая в голове мудрый совет Петровой.

Но на полпути она встала и чуть не хлопнула себя по лбу.

Следовало бы сперва сбежать вниз, выскочить из театра и отыскать за углом Саньку. Он, поди, все еще там стоит – и не приведи Господь, если его там увидит кто-то из театральных служителей. Прогнать его туда, где его искать не догадаются, – вот что вмиг стало главной задачей.

Фигурантка развернулась и побежала к черному ходу, но вдруг опять стала, как столб.

Весь театр знает, что она носится, пытаясь как-то помочь Румянцеву. Как бы не выскочили за ней следом и не увидели его на улице. Эти сволочи могут не полениться и добежать до полицейских сыщиков, которые все еще заседают в дирекции. Значит, надобно запутать следы.

И Федька неторопливо пошла совсем в другую сторону.

Она решила выскочить из театра через вход для зрителей – благо этих входов в Большом Каменном было шестнадцать. Но сперва – показать вид, будто она пошла в зрительный зал по некому делу, с кем-то там потолковать, с кем-то, может, даже пожеманничать. Судя по звукам, доносившимся со сцены, певцы репетировали, невзирая на печальное событие, прелестную забавную русскую оперу «Ямщики на подставе», написанную Евстигнеем Фоминым на либретто Николая Львова. Сами сочинители назвали ее «игрище невзначай», чтобы оправдать неимоверное количество плясок и песен.

На сцене хористы стояли вразброд, изображая позами неуклюжих ямщиков, и трогательно выводили:

– Высоко сокол летает, Повыше того белая лебедушка, Слетался сокол с белою лебедушкою…

Федька заглянула в оркестр, задала там кое-какие вопросы, потом пошла к служителям, опускавшим вниз большие люстры, чтобы снабдить их новыми свечками. Остановилась и возле кавалеров, которые пришли посмотреть репетицию ради молоденьких хористок. Кавалеры были знакомые, отчего ж с ними не постоять в партере – да заодно и не убедиться, что никакая гадина не ползет по следу.

Большой зал представлял собой живописную картину – в разных его концах составились группы из красивых актрис в сценических платьях, актеров и обожателей всех возрастов и званий. Шубы и епанчи скинуты были на кресла в партере, там же стояли прислоненными до поры особые трости, в набалдашники которых были вделаны свистки. Любители оперы и балета нарочно запасались ими, чтобы опозорить неудачливых дансеров или певцов, хотя театральное начальство несколько раз строго запрещало ходить с подобными аксессуарами. До того были в

моде скрепленные шнурком дощечки, которыми партер поднимал неимоверный треск, заменявший аплодисменты, да, слава богу, устарели.

Звучала музыка, на сцене командовал не кто-то из хормейстеров, а приятель Львова, купец и певец Митрофанов – толстенький, с глазами навыкате и носом репкой, выпевающий нужные слова громким басом, которому он умел придать потешную хриплость, но при том шустрый и задиристый. Его позвали потому, что он содержал доподлинный и всем известный ямщицкий хор, который любители часто приглашали летом в усадьбы. Только он, по мнению Львова и Фомина, мог показать оперным певцам верную ямщичью манеру.

Вдруг Федька увидела человека, который был ей действительно нужен. Увидела – и обрадовалась.

При театре вечно околачивалось превеликое множество разнообразного народа, и все норовили оказаться в зале. Художники приносили эскизы декораций, костюмов и разного сценического убранства, композиторы – толстые и лохматые партитуры, ветераны приводили поющих внуков и внучек, племянников и племянниц, надеясь добиться для них дебюта. Ежели прибавить обожателей – получалась картина на манер ярмарки, только что цыган недоставало. Среди всей этой пестрой и шумной публики самым кротким выглядел юноша лет семнадцати, высокий и круглолицый, одетый скромно, имевший при себе книжки, тетрадку и карандаш. Что он высматривал на сцене, что записывал – никто не знал. Говорили – юный сочинитель, подающий немалые надежды. И рассказывали про него дивно нелепую историю.

Вроде бы написал он оперу – точнее, либретто оперы, в прозе, но с куплетами. Поскольку ему было тогда лет около пятнадцати, никто из театрального начальства даже не пожелал ее просмотреть. Тогда юный сочинитель решил зайти с другого конца – сперва издать ее в виде книжицы, добиться славы у читающей публики, а там уж продолжать штурм театра. Вся столица знала типографщика Брейт-копфа, великого любителя музыки, возможно, и знатока. Он славился еще и добротой. Сочинитель принес ему свой труд и просил посодействовать в переложении куплетов на музыку. Брейткопф прочитал либретто – и предложил за него целых шестьдесят рублей ассигнациями. Уж что он собирался делать с оперой дальше – никто не знал, книжица так и не была издана. Однако не только типографщик блеснул чудачеством, но и сочинитель: попросил заплатить ему не деньгами, но книгами, и набрал творений Расина, Мольера и Буало.

Сказывали, он, желая прибиться к театральным делам, готов был браться и за перевод французских пьес. Ему наконец поручили перевести слова оперы «Инфанта Заморы», и он удачно с этим справился. После того его комическая опера «Бешеная семья» все же пришлась по нраву театральному начальству, и к ней вроде бы кому-то заказали музыку.

К этому-то странному человеку и устремилась Федька.

– Здравствуйте, сударь, – сказала она, приседая. – Сказывали, вы большой охотник до книжек. А у меня есть старые на продажу. Пойдемте в сени, я вам про них расскажу.

Все-таки Федька была не только отменной танцовщицей, но и актеркой – она так подалась всем станом к круглолицему юноше, что всякий, за ней следящий, сказал бы себе: кажись, Бянкина поумнела и избрала для своих чувств более подходящий предмет, чем фигурант Румянцев.

– Пройдемте, сударыня, – со всей любезностью отвечал юноша и, оставив в зале шубу, поспешил вслед за Федькой. При этом он задел и опрокинул стоявший у дверей стул.

– Я, сдается, угорела, – взявшись за виски, сообщила Федька, придав себе страдальческий вид. – Так вот, сударь, мне от деда достались старые французские книжки Ла Кальпренеда, Мариво «Удачливый крестьянин», Лесажа «Хромой бес» и «Жиль Блаз из Сантильяны», еще превеликое множество русских книжек – Тредиаковского вирши, сатиры Кантемировы…

Юноша глядел на нее, выпучив глаза: слыханное ли дело, чтобы фигурантка разбиралась в литературе? А Федька не очень-то и разбиралась – имея хорошую память, она запомнила

фамилии и названия, да и как не запомнить, если в маленькой комнатушке все это дедово наследство постоянно было перед самым носом, и золотые буковки на черных книжных корешках сами в голове застревают?

Собственно, не только книги составляли наследство, но и половина крошечного домишки. И если от нее избавляться – то дедовы книжки с журналами впору выбрасывать на улицу или сложить из них на заднем дворе костер. А книг было жалко – вот Федька, похоронив деда, и уговорилась с дедовым шурином, что старик будет там жить и охранять книжки. Плату она брать не хотела, а просто пожалела отставного инвалида и даже иногда навещала его летом, он же пристроился к свечной мастерской и всякий раз снабжал Федьку связками дешевых сальных свечек.

– Книги мне точно нужны, – сказал юноша, – да ведь я много платить не могу. У вас, поди, в дорогих переплетах, а я в типографии любую книжку без переплета могу взять за сорок или пятьдесят копеек.

– Так ведь теперь того не печатают, что у меня есть, – возразила Федька. – Покойный дедушка даже журналы собирал – набрал полный комплект «Адской почты», все номера…

– «Адскую почту» беру! – воскликнул юноша. – Дам хорошую цену! А что еще есть?

– Вы приходите к нам, – пригласила Федька. – Сами все книжки увидите и нужные отберете. Ах, голова просто раскалывается… Выйдем на свежий воздух!

Она полагала забежать за угол и быстро уговориться с Санькой о том, где его найти, когда удастся покончить с этой гнусной историей. Что ему не следует показываться в театре, пока там сидят полицейские, было ясно даже дитяти. Сыщикам нужен убийца – и нужен сию минуту. А вытаскивать из застенков невинного человека и исправлять потом его репутацию – куда сложнее, нежели спрятать этого человека на несколько дней в Санкт-Петербурге.

– Подождите меня, сударь, сейчас мне на морозце полегчает, – сказала Федька, рассчитывая вернуться в зал вместе с юношей, чтобы все подумали что-либо амурное. Но он вышел вслед за ней, хотя и не сразу – она уже бежала вдоль театральной стены.

Он побежал следом и увидел, как Федька, придерживая у горла накинутую шубку, что-то втолковывает высокому молодому человеку.

– Так вот ты где, Румянцев, – произнес юноша. – Это славно. Одной заботой меньше…

Глава третья

Нельзя рыдать долго, тем более на морозе. Та вода, что где-то хранится в голове для слезных потоков, иссякает, новой взять неоткуда…

Когда она выливается, образуется, надо полагать, пустое место. И разум, терпеливо пережидавший это стихийное бедствие, выбирается из закутка, расправляет плечики или что там у него имеется, берется за работу.

Санька хотел было устремиться в театр, откуда, как он понял, еще не увезли Глафирино тело, припасть хоть к рукам, сказать последнее «прости». Порыв был благой – да только что там сказала рябая надоеда про подозрения полицейских?

Слушать все, что она толкует, – надо запасную голову иметь для ее бредней.

А ведь дружили, их и в пару ставили еще в школе, пока Федьку не подменили – она подурнела и сделалась обожательницей, и уж непонятно было, куда прятаться от ее долгих взоров.

Однако сейчас пришлось вспоминать каждое слово.

Придется объяснять, куда умчался впопыхах и с безумным видом, где болтался, чем занимался… А как объяснить-то?! Рассказать, что подслушал разговор между Глафирой и кем-то из береговой стражи? Можно бы. Пусть ищут посредника между ней и ее тайным любовником, статочно – и убийцей… Да! Ее задушил любовник!

Эта мысль осенила Саньку и даже ввергла в некую злодейскую радость. Вот, думал он, ты его всем предпочла, и мне также, а он, тобой наскучив, и прибежал в театр со шнурком!

Довод в пользу этой догадки только один – любовник должен подъехать к ее дому, а не подъехал, стало быть, знал, что уж незачем.

Теперь нужно придумать, как это преподнести сыщикам.

Тут-то и прибежала Федька.

– Саня, я тебя ни о чем не спрашиваю и ничего знать не желаю! – выпалила она. – Где ты был полночи – не мое дело! Молчи, не говори! Знать не хочу! Ты только слушай… Тебе сейчас нужно уйти и где-то спрятаться, а я все сделаю сама. Я добыла денег и уговорюсь с Бориской, будто вы вместе были – и из театра вместе ушли, и ужинали, и книжки читали. Ему поверят! Он ведь не питух, как Семен, он скромный, тихий… Ты только спрячься дня на два, на три, я все сделаю и тебе расскажу, чтобы вы полицейским одно и то же говорили!

Санька уставился на нее изумленными глазами – ишь ведь что придумала! Кто знал, что она – такая отчаянная интриганка? Сама мысль ему понравилась – и не придется объяснять господам из управы благочиния то, чего они понять вряд ли смогут по причине каменной тупости собственного мозгового устройства.

– Ты спрячься, да так, чтобы матушка твоя не знала! – продолжала фигурантка, вжимая в Санькину руку рубль. – Она-то и рада бы тебе помочь, да только соврала – а твой милый братец сказал правду. Так что ты домой пока не ходи…

– Ах, так твою мать… – пробормотал озадаченный Санька. Чем, спрашивается, он не угодил брату? И куда податься – так, чтобы семейство не знало? У матери есть сестрица, живет у Александро-Невской лавры, – к ней, выходит, нельзя…

– А через день прибеги ночью к Малаше, стукни в окошко, – наставляла Санька. – Она тебе все перескажет. Ты не беспокойся, я все улажу!

И, хотя Санька очень хотел, чтобы кто-то все уладил без его вмешательства, первая мысль была: этого еще недоставало…

Быть перед Федькой в долгу за такое – это уже опасно. Мало ли, что она вышивает ему платки и дарит пуговицы для фрака? Это – мелочь, ерунда. Он тоже может подарить – и жаль, что не отдаривался хотя бы баночкой с дешевой пудрой или белилами. Так оно было бы пра-

вильно… А за спасение от сыщиков, пожалуй, придется платить любовью… так она, кажется, и рассчитала…

– Хорошо, Федя, – сказал Санька. – Все сделаю, как ты велишь.

– Где квартирует Малаша – знаешь?

– Знаю.

– Ну вот… ты не унывай… я для тебя, ты же знаешь…

– Да.

Кабы не рябая рожа, подумал Санька, ох, кабы не рябая рожа…

И даже не эти картечные рябины – многие даже придворные дамы после оспы таковы и успешно замазывают личики, так что не придерешься. Беда в том, во-первых, что слишком часто Санька видел Федьку без белил и пудры, теперь как она ни прихорашивайся, хоть вершковый слой притираний наложи – он и сквозь этот слой ее уродство внутренним взором увидит. А во-вторых – смех будет на весь театр, если он, всегда показывавший береговой страже свое пренебрежение к Федьке, вдруг снизойдет. Этого допустить нельзя…

Да и какие амуры, если в сердце – доподлинная рана? Разве что Анюта могла бы по-бабьи утешить. Но сейчас к ней лучше не соваться – как бы не поссорить ее с откупщиком. Докапываясь до причин Глафириной смерти, сыщики и так много всяких амурных приключений обнаружат, а в городе за этим делом все будут с любопытством следить, не каждый день первую дансерку находят среди декораций с роковым шнурком на шее.

Ох, Глафира, Глафира, нежный голосок, крошечные ручки, бестелесное прикосновение пальчиков к подставленной ладони… словно золотой лучик из светлого рая падал на сцену, и нет его больше…

Слезы опять навернулись на глаза.

– Ступай, Федя, пока тебя не хватились, – сказал Санька.

И тут как будто маленькая молния меж них проскочила. Не только Федька быстро обняла его, но и он – ее, необъяснимо, без единой мысли, да еще и прижал на единый краткий миг. Потом они друг от дружки отшатнулись, и фигурантка еще мгновение глядела ему в глаза, прежде чем повернуться и убежать. Во взгляде были слова: твоя же я, дурак, вся твоя… Но в таком имуществе фигурант Румянцев не нуждался.

Следовало отойти подальше от театра и придумать, куда бы деваться. Гриша Поморский – на репетиции. Его старенькая матушка Саньку знает и пустит погреться, но нельзя же там просидеть у печки двое суток. Нужен человек, посторонний театру…

– Сударь, стойте! – и с этим призывом Саньку хлопнул по плечу некий человек. – Не бойтесь, я вам друг!

Голос был молодой, звонкий. Фигурант обернулся и увидел круглолицего юношу, без шапки, в одном фраке.

– Я знаю положение ваше, – сказал он, – но мне также известно, что вы невиновны. Я хочу вам помочь. Есть дом, где вам будет хорошо, куда не доберутся господа из управы благочиния, покамест это дело не разъяснится.

– Но кто вы? – спросил Санька, отчаянно соображая: лицо вроде знакомое, в театре попадалось.

– Я сочинитель! – гордо отвечал юноша. – Подождите меня вон там, за манежем, я только оденусь. И поедем отсюда! Здесь вам быть незачем.

В манеже еще несколько лет назад устраивались конные карусели – от них и получила название площадь перед Большим Каменным, хотя шустрые извозчики уже стали звать ее Театральной. Сейчас он за ненадобностью стал разрушаться, и столичные жители ночами таскали оттуда доски и бревна.

Не назвав имени, юноша убежал, и следы выдавали человека, от танцевального искусства весьма далекого, – он заметно косолапил…

Выбирать не приходилось – Санька перебежал к манежу, приютился там в заветренном месте и принялся ждать неожиданного благодетеля.

Он стал вспоминать – да, точно, юноша часто бывал в театре, и не только в партере или на галереях, но и за кулисами. В памяти прозвучало слово «Клеопатра». Да, точно, юноша был замечен в обществе Ивана Афанасьевича Дмитревского – человека, которого в Большом Каменном знали и уважали все. А «Клеопатра», статочно, трагедия, которую юноша предлагал Дмитревскому для постановки… Однако он не только проситель, он чересчур часто бывает в театре, у него какие-то дела, хотя с балетом они не связаны – скорее с оперой…

Минут через десять юноша, уже в шубе, прискакал по рыхлому снегу.

– Я извозчика нанял… да подымите же воротник, сударь!.. Бежим!

Извозчичьи санки ждали в двух шагах – оставалось сесть и накинуть на ноги тяжелую полсть, да еще подтянуть ее повыше – встречный ветер заносил седоков снегом.

Ехали недолго – мимо Сенной, за Апраксин двор и вдоль Фонтанки.

– Как звать вас, сударь? – спросил Санька первым делом.

– Свое прозвание я берегу для того времени, как покроюсь славой, – весело отвечал юноша. – И тот час недалек. А пока… так сразу и не придумаешь… Друзья зовут меня на французский лад – Жан, я откликаюсь.

– Мусью Жан? – уточнил Санька.

– Да какой из меня мусью… Жан, Жанно… можно и так… Вы, Румянцев, не беспокойтесь о моем прозвании. Очень скоро оно станет вам известно. В день, когда в Большом Каменном будет премьера оперы моей…

– Что за опера? – недоверчиво спросил Санька. В восемнадцать лет (столько он дал на глазок благодетелю) можно писать хоть трагедии, хоть комедии, но надежда увидеть их на сцене сомнительна.

– Узнаете в свой час. Музыка уже заказана! – похвалился сочинитель.

Санька пожал плечами – тайны какие-то дурацкие…

Дом, куда доставил его Жан, был убран так, как если бы в нем жил чиновник средней руки, поминаемый в ежегодно публикуемых списках восьми старших классов, не какой-нибудь копиист, да еще и увлеченный искусством. На стенах гостиной висело несколько картин – неплохие, по Санькиному мнению, пейзажи, на этажерке и на подоконнике лежали французские книги. Красивый секретер был раскрыт и готов для работы – из стакана торчали очиненные перья и карандаши, в глубине лежали стопы бумаги, и Санька мог поклясться, что чернильница полна – а не то, что у него самого, кладбище дохлых мух.

– Будьте как дома, – весело сказал Жан. – Книги, журналы, гравюры – все к вашим услугам. Сейчас пойду велю сварить вам кофею. Тут вы в полной безопасности.

– Это ваше жилище? – спросил Санька.

– Нет, тут живет человек более почтенный. Он знает о вас и хочет вам покровительствовать.

Санька несколько смутился – отродясь не бывало, чтобы чиновное лицо оказывало покровительство балетному фигуранту. Фигуранткам – да, девицы о том лишь и мечтали.

– А, может, угодно поиграть на скрипке? – немного смущенно полюбопытствовал Жан. – Я скрипку страстно люблю, а вы? Может, мы бы исполнили какой-либо несложный дуэт? Совсем несложный?

Вот тут Санька и понял, что за ним наблюдают уже не первый день и знают, что он берет уроки у Гриши Поморского.

– У меня своей скрипки нет, – сказал он, – и я ее беру в руки лишь в доме учителя моего… и я дуэты играть не обучен, одни танцевальные арии…

Это было чистой правдой – Гриша не столько учил его, сколько натаскивал бойко исполнять всем известные напевы контрдансов и гавотов.

– Жаль… – и Жан вышел распорядиться насчет кофея.

Санька тут же взял книжку, которую Жан привез с собой.

Она была толстенькой, почтенного возраста и на французском языке. Называлась «Кабалистические письма, или философская, историческая и критическая переписка между кабалистами, элементарными духами и сеньором Астаротом». Имя сочинителя отсутствовало. Санька, очень удивленный тем, что Жан читает такие странные книжки, открыл наугад – и обнаружил послание сильфа Оромасиса, весьма философское. Читать это, да еще на французском, не было ни малейшей охоты. Санька закрыл книжку и взял с подоконника другую – сочинения Мармонтеля. Она была заложена посередке бумажкой. Санька открыл – и увидел начало сказки «Мужсильф». Он стал искать хоть что-то на русском и открыл толстую тетрадь, в которой оказалась переписанная пьеса «Сильф, или Мечта молодой женщины».

– Куда ж я попал? – сам себя спросил Румянцев. Он знал, что сильфы – неземные создания, вроде ангелов, но не ангелы. Так мало ли всяких созданий, которых никто не видел? Вон истопники в театре говорили, что там домовой поселился и шкодит, поленницу развалил, заслонку у печи самовольно закрыл, от чего музыканты чуть не угорели. Но про домовых в книжках не пишут, а про сильфов, выходит, пишут, и кому-то эти сведения необходимы…

– Сейчас поспеет угощение, – сказал вернувшийся Жан. – Так нет охоты поиграть на скрипке? А то тут имеется хорошая, да ноты есть, да другую я бы у соседей попросил… – Он уже просто умолял, и Санька не выдержал.

– Какая там скрипка, не до нее…

– Простите, бога ради! Вы садитесь, вот кресла… говорите, что вам угодно, вам ни в чем не будет отказа!..

– Мне угодно… – Санька хотел было попросить, чтобы его оставили в покое, хотя бы на два-три часа, – и не смог. С одиночеством у него были сложные отношения. Он и хотел иногда остаться один хоть в каком закоулке, но не получалось: дома спал с братом, в театре тоже вокруг постоянно люди. Так что он даже не знал, каково это – сидеть наедине с собой, не беспокоясь, кто и что сию секунду сказал или подумал.

Сейчас он получил вдруг такую возможность – Жан оставил бы его одного в теплой гостиной, да еще кресла бы ближе к печке подвинул – чтобы уютнее тосковалось. Но как теперь думать о Глафире? Как ее оплакивать – такими ли слезами, как час назад на морозе? Те слезы пролились – и их больше нет, и в чем же еще должна проявиться скорбь?

Саньку носило от стенки к стенке, длинные ноги в три шага одолевали расстояние, ловкое тело разворачивалось, вновь устремлялось – как будто от того стало бы легче…

– Я послал за человеком, который принимает в вас участие, – сказал Жан. – Он живет поблизости, сейчас будет. Как раз к чаю.

– Благодарю, – Санька хотел на лету поклониться, но шея судорожно дернулась. Это уж было совсем скверно.

– Я вижу, вы листали книжки. Там много любопытного…

– Да.

Заводить разговор о количестве сильфов в этих книжках Санька не желал – литературные беседы ему не давались, он знал слишком мало, а теперь развелось неимоверное множество сочинителей, которых нужно знать и помнить, не только французских, но и русских. Державин, Львов, Капнист, Хемницер – и все беспрестанно что-то пишут и издают! Да и на что танцовщику стихи?

Жан явно не знал, о чем теперь говорить с гостем.

– У нас есть свежий номер «Лекарства от скуки и забот», угодно?

– Благодарю.

Этот журнал Саньке как-то попался в руки, но читать его было затруднительно – язык возвышенно-невнятный, простому человеку не понять ничего, кроме стихотворной загадки.

Всякий раз, кратко отвечая Жану, Санька отмечал эту неожиданную шейную судорогу, тело предупреждало: от горестей и бедствий могу взбунтоваться. В последний раз мотнув головой, он сел, сжал на коленях кулаки – и ощутил невероятный озноб, вплоть до зубовного треска.

Тогда Жан прошелся взад-вперед, вздохнул, посмотрел на большие напольные часы.

– Пойду потороплю Трифона, – сказал он и вышел.

Санька обхватил себя руками, съежился – озноб не унимался. Нужно было прижаться к печке, раз уж нет возможности завернуться в одеяло. Забиться в угол между стеной и печкой – там наверняка все пройдет. Но угол оказался занят клеткой с попугаем, который дремал на жердочке и не пожелал приветствовать незнакомца. Птица была дорогая, по-своему красивая, о такой мечтала Санькина матушка – попугаи в столице жили во многих домах, ценились за разговорчивость, ими похвалялись перед соседями, их нарочно учили, тратя на это немалое время.

– Дурак попинька, попинька дурак, – тихонько твердил ему Санька, нагнувшись над клеткой, в надежде, что общеизвестное попугайское приветствие как-то подействует и прозвучит ответ.

Озноб не унимался, хотя печка была совсем рядом и тепло от нее шло животворное. За спиной тихонько и очень деликатно кашлянули. Санька стремительно выпрямился и повернулся. Он увидел высокого и полного кавалера, немолодого, далеко не красавца, с умным взглядом, одетого по моде, но причесанного кое-как – волосы не взбиты и напудрены, а напротив, стянуты в косицу, так что чрезмерно высокий лоб весь на виду.

– Я знаю обстоятельства ваши, господин Румянцев, – сказал кавалер, выделывая губами какие-то странные экзерсисы. – Сядем и потолкуем. Рекомендовать меня некому, потому я сам – Андрей Михайлович Келлер, по ремеслу типографщик. Выполняю также поручения некой высокопоставленной особы – для того я тут… Жан! Ступай к нам!

Вошли двое: юноша нес огромный фарфоровый чайник, служитель – поднос с чашками и угощением.

– Мы тут по-свойски, – объяснил Келлер. – Без чинов. Их нам заменяет степень таланта. Жан – надежда наша, через два или три года вы гордиться будете, что преломили с ним мясной пирог! Его комические оперы уже сейчас замечательны. Лучшие умы наши от него в восхищении – сам господин Княжнин!

Санька посмотрел на юношу с удивлением – надо же, не солгал, и впрямь сочинитель. Про Княжнина он знал – кто ж, будучи служителем Мельпомены, не слыхал сего имени? Его прозвали «российский Расин» и за талант прощали многое – сама государыня, когда он растратил шесть тысяч рублей казенных денег, сумму для Румянцева немыслимую, и определением военного суда был приговорен к разжалованию, помиловала его и вернула ему капитанский чин. Легкий и красивый стих Княжнина ей нравился чрезвычайно – сама она писала комедии прозой и честно сознавалась, что не создана для поэзии.

Санька сел на стул и отвернулся – ему было неловко за свою дрожь, хоть ее со стороны и не видно.

– Соберитесь с духом, господин Румянцев, – сказал Келлер, самолично разливая по чашкам напиток. – Чтобы некая особа могла вам помочь, ей следует собрать сведения.

– Отчего эта особа вздумала мне помогать? – спросил Санька, вдруг забеспокоившись. Таинственный благодетель мог оказаться богатой знатной старухой, которой ничего не стоит вырвать из лап управы благочиния двадцатилетнего молодого человека, а потом приставить к своему ложу – читать французские шаловливые сказочки на сон грядущий. В этом деле, увы, сама государыня давала пример – и многие дамы в годах решили, что им все дозволено.

– Оттого, что тут совпадение интересов, – объяснил Келлер. – Сия особа не менее, чем вы, желает найти убийцу Глафиры Степановой. Как подняли тело – нам известно. Про вашу маску с инициалами, найденную у тела, тоже известно. Как она туда попала?

– После представления я очень спешил прочь из театра, я сам не помню, как сорвал ее и бросил, – честно сказал Санька.

Жан меж тем подвинул к себе большую тарелку с пирогами и принялся их не есть, но пожирать со скоростью человека, мало смыслящего в кулинарных тонкостях и видящего смысл еды в том, чтобы поскорее добиться блаженной наполненности брюха.

– Бросил казенное имущество? Не сдал костюмерам? Как же так?

– Не знаю.

На самом деле он уже начал понимать, как это произошло. Он спешил и опомнился только у дома Глафиры, в шубе поверх театрального костюма. А маска обременительна, и его безмерно раздражало все, что крало у него хоть мгновение…

– Сорвали и бросили, не уронили?

– Наверно… я очень спешил…

– Куда же вы спешили? Господин Румянцев, мы оба, и Жан, и я, вам лишь добра желаем – и хотим получить полную картину всего, что было в тот вечер, – сказал Келлер. – Может быть, вы не понимаете, в каком положении оказались?

– Понимаю, – тут Санька вспомнил Федьку, которая обещала как-то помочь. И немного пожалел, что позволил юноше привезти себя в этот дом. Ведь придется говорить о Глафире и ее любовнике, а это нестерпимо. Федька хоть не задавала вопросов.

Видимо, он молчал слишком долго.

– Тогда говорите! Дайте возможность людям, которые к вам благосклонны, спасти вас! – крикнул Келлер. – Господи, ведь говорил мне Жан, что от береговой стражи толку не добьешься!

– Андрей Михайлович! Среди них есть и выпивохи, и просто дураки, но господин Румянцев не выпивоха и не дурак! Я это ясно вижу! И к тому же в береговой страже служит по крайней мере один приличный человек, которого все мы знаем…

– Вот вам философская тема для нашего журнала, Жан: о том, как добродетель своим простодушием более вреда причиняет, чем самое злокозненное зло, – сказал, успокаиваясь, Келлер. – Распишите ее поехиднее.

– Сия тема скорее для «Лекарства», – возразил Жан. – Туманский любит милые парадоксы. Я третьего дня видел гранки, там целый трактат о нескромности в любви. И так все вывернуто наизнанку, что дамам, оказывается, нескромность любовника милее оных достоинств!

Тут Санька, несмотря на скорбь и озноб, навострил ухо. Сам он как раз был любовником, вынужденным охранять репутацию дамы, и тема трактата показалась ему полезной. Но Келлер, видимо, уже мало интересовался такими причудами.

– Ты гранки, надеюсь, прихватил? – спросил он. – Сейчас не до того, а потом как-нибудь, на досуге…

– Я буду сегодня в типографии у Туманского, – сказал Жан. – А сейчас мне пора на службу. И то – еле выпросился, с утра-то…

– Ступай с богом, Жанно.

– Господин Румянцев, я вечером, коли не в театре, так тут буду, – пообещал юноша.

– Ты сразу во флигель заходи, господину Румянцеву там комнату отведут, ту, угловую.

– Да там к крыльцу не подойти – снегу по пояс.

– Я велю расчистить дорожку.

Когда Жан ушел, Келлер помолчал немного и опять взялся пытать Саньку. Тот уже и сам понимал, что лучше бы рассказать правду. Пока излагал события – озноб куда-то подевался.

– Диковинно. Стало быть, посредник между бедной Глафирой и ее любовником – кто-то из береговой стражи? – удивился Келлер. – Это новость! Теперь кое-что становится понятным.

– Что?

– Каким образом она с ним сговаривалась. Ведь к ней домой писем не носили, это я знаю точно. И кто же это может быть? Придется вам, сударь, взяться за перо и составить список товарищей ваших.

– Не всех, – возразил Санька. – Тот человек был в костюме и в маске адского призрака. А нас, призраков, которые уводят Альцесту, всего шестеро, со мной вместе. Это был не я – выходит, пятеро.

– Это уже лучше. Так кто эти люди?

Санька задумался.

– Сенька, то есть Семен Званцев. Еще Семен – Митрохин. Надеждин Борис. Трофим Шляпкин. Петр… как бишь его… Ваганов!

– Пятеро… Ну, подкупить фигуранта несложно, он за полтинник записочку передаст. И место для встреч самое лучшее – там, как я понимаю, мрак преисподний?

– Не всюду. Свет со сцены проходит через щели. А на сцене и плошки горят на рампе, и с боков спермацетовые свечки, а они яркие.

– Любопытная история получается, – сказал, подумав, Келлер. – Товарища вашего подкупили, чтобы он зачем-то Степановой солгал.

– Солгал?

– Да. Ведь что было сказано?

– Что к ней домой после представления приедут, так чтобы она была готова.

– А приехали?

– Нет! – воскликнул Санька. – Никого не было! Я там битый час проторчал – ни ее, ни кого другого!

– Видел ли вас кто возле дома Степановой?

– Да кто меня мог там видеть ночью и в такой мороз?

– Товарищи ваши убеждены, что вы убили Степанову. Отчего они так вас не любят?

– Да у нас никто никого… – тут Санька вспомнил про Федьку. Может статься, и эта не любит, а хочет заполучить в мужья. Для брака-то любовь не обязательна…

– Тяжко жить, когда никто никого не любит.

– Тяжко, – согласился Санька. – И когда все завидуют – тоже. Как Шляпкин Ваганову – тому танцевать фурию дали. Шляпкин, когда шестнадцать пар танцуют, в задней линии стоит, а Ваганов с Васькой Ивановым впереди в фуриях скачут.

– Это разве не женская партия?

– Нет, там высокие прыжки нужны, большой шанжман, ассамбле… – Санька по привычке тут же ладонями изобразил дикую пляску фурии. Это был едва ли не тайный язык танцмейстеров, объясняющих задание дансерам и фигурантам, – никто иной не понимал, что значат эти стремительные взмахи и скрещения ладоней.

– А вам завидуют из-за госпожи Платовой?

– Черт их знает.

Санька подошел к окну. За стеклом, было так красиво, что ни одному театральному живописцу не передать – белое кружево покрытых инеем веток отгородило окно, снизу разукрашенное крупным ледяным узором, от всего мира, являющего образ безупречной в своем величии стужи, и вновь явился озноб – словно снаружи сквозь стекло просочился.

– Пауки в банке, – уверенно сказал Келлер.

– Еще хуже.

– Уходите вы оттуда, сударь. Что вам там – медом намазано?

– А куда идти? Что я еще умею? Меня учили – думали, стану дансером. Дансера из меня не получилось. Дансерка мне под стать еще не выросла! Они же не должны быть большими, они все мне чуть не по пояс.

– Плохо ваше дело, сударь.

– Сам знаю…

– Но не отчаивайтесь. Особа, которая вам покровительствует, предоставит иную должность, коли будете умны. Сейчас главное – разобраться, что произошло той ночью в театре. Отчего бедную Степанову сперва убеждали, будто ее любовник приедет к ней ночью, а потом удавили среди декораций. Сдается мне, что вы знаете ее любовника.

– Нет. Откуда мне его знать?

– Вы все время наблюдали за Степановой и бродили вокруг ее дома в разное время. Вы должны были его видеть, – строго сказал Келлер.

– Да если б видел!.. Я же до вчерашнего вечера не знал, что у нее есть любовник! – этот допрос уже стал Саньку раздражать. Он видел, что любезный Келлер как-то незаметно поменял тон и в голосе его, что бы он ни говорил, звучит: а я тебе, голубчик, не больно верю.

– Я полагаю, знали. Вам нет нужды это скрывать – я на вашей стороне, сударь. Даже когда б вы застали Степанову с ним в постели задравши ножки кверху…

Санька кинулся к Келлеру, чтобы ударить его кулаком в лицо. Как всякий человек, не обученный драться, он имел в себе некое паршивое существо, не дающее кулаку набрать нужную скорость и мешающее вложить в удар всю душу. Двигался-то Санька быстро и оказался возле Келлера мгновенно, однако тот, человек полный и на вид не больно шустрый, легко увернулся, да еще и засмеялся.

– Полегче, сударь, – сказал он грубовато. – Не то, коли я ударю, умаешься по полу ползать да зубы собирать. Садись, дурень.

Санька кинулся прочь из гостиной.

Этот сукин сын говорил гадости про убитую Глафиру – никто из береговой стражи бы до такого не додумался. Принимать от него благодеяния было бы постыдно!

Однако в сенях Саньку перехватил невысокий молодой человек легчайшего сложения, с узким личиком и лихим прищуром веселых глаз.

– Стой, сударь, куда ты понесся? – крикнул он.

Санька очень нехорошо посмотрел на него – но остановился. Рассудок его проснулся – неизвестно, где шуба и шапка, а без них бегать по Санкт-Петербургу в мороз как-то неуютно, да и куда бежать?

В дверях появился Келлер.

– Да будет тебе, – сказал он. – Экий обидчивый! Мир, мир! Санька подумал – и вернулся в гостиную. Вслед за ним вошел и худощавый кавалер.

– Моська тебе кланяется, – загадочно сообщил он Келлеру.

– Что Моська? В добром ли здравии?

– Уже из дому выезжает. Предупреждали же – тут не Франция и даже не Датское королевство, тут отсыреешь и горячку схватишь единым мигом.

– Моське бы это гнилое время дома пересидеть, – заботливо сказал Келлер. – А он с визитами разъезжал. Господин Румянцев, рекомендую – товарищ мой, Никитин. Тоже типографщик. Весьма бойкое перо. Садитесь, господа. Итак – ты, брат Никитин, еще главного не знаешь. Посредником между госпожой Степановой и ее тайным обожателем был кто-то из береговой стражи, и он же был подкуплен убийцей госпожи Степановой, чтобы соврать ей, будто обожатель приедет к ней сразу после представления. А для чего – неведомо.

– Ты, Келлер, лучше бы с самого начала рассказал.

Узнав про подслушанный Санькой разговор, Никитин задумался.

– Мы слишком мало знаем, – сказал он наконец, – чтобы строить домыслы.

– Господин Румянцев знает поболее, но говорить не хочет. Хотя то, что он знает и расскажет нам, может обелить его полностью…

– Я представления не имею, кто тот обожатель, – буркнул Санька, малость благодарный Келлеру за то, что тот не произносит более слова «любовник». – Да, я наблюдал за ней, но я видел ее только с женщинами и слышал разговоры с ними. Она держалась очень гордо…

И вновь его прошиб отчаянный озноб. Гордость ли это была? Глафира никогда не показывала своего превосходства даже в обществе простых фигуранток. Только мужчин сторонилась. Как будто тайный постриг приняла – и получила странное послушание: танцевать, танцевать до упаду…

– Садитесь, – сказал Никитин. – Ты, брат Келлер, не с того конца, гляжу, начал. Когда человек в горести, его не чаем надобно отпаивать.

– Поговори мне, доктор самозваный! – отрубил Келлер. – Хрена тебе плешивого…

– Так не мне же! Вот те крест – глотка не сделаю!

Несколько минут спустя на столе все же явились бутылки.

– Я сразу увидел – тебя, сударь, лихоманка бьет, – тихо сказал Никитин. – Две чарки, более тебе ни к чему. Простое хлебное вино – лучшее лекарство.

– Не для всех, – вставил Келлер. – Ну, за упокой, не чокаясь.

– Мне пить нельзя, меня еле от этого дела отвадили, – сообщил Никитин, когда Санька ощутил жар на всем пути прохождения водочной чарки. – Бабки травами поили, молебны служили. Нашелся добрый старичок, заговорил от пьянства.

Санька удивился – Никитин имел молодое свежее лицо и на питуха совершенно не походил. Солнце, заглянув в гостиную, положило ясный луч на его гладкую щеку и высветило веселую голубизну глаз.

– А пил я оттого, что меня девки не любили, – продолжал Никитин. – Хотелось, чтобы не за деньги, а им, дурам, дородных приказчиков подавай из модных лавок. А благородной субтильности не ценили!

Санька невольно улыбнулся.

– Но вернемся к бедной госпоже Степановой. Вы, сударь, стало быть, слушали ее разговоры с товарками. Не может быть, чтобы она им о своих обожателях не рассказывала, – сказал Келлер.

– Нет, сударь… – Санька задумался. – Она была не из таких… Она прямо говорила – в обожателях не нуждается. А коли кому она полюбится и он ей полюбится – пожалуйте под венец. Вот я и полагал…

– И когда ж она так говорила? – спросил Никитин. – И кому?

– Товарке своей, дансерке Петровой, и при том другие дансерки были. И я там же в сторонке стоял. А про обожателей она и слышать не желала!

– Именно такими словами и сказала? Что-де под венец?

– Да. Ей Петрова говорила – сам Светлейший князь изволил отметить ее ловкость и дарование, надежные люди донесли. А она – нет, только законного мужа могу любить, иным – от ворот поворот.

– Так и сказала? Такими словами?

– Да.

– Так вот же она, разгадка! – воскликнул Никитин. – Вот она, причина!

Санька приоткрыл рот, соображая. Что несостоявшийся питух имел в виду?

– Коли так – все сходится, но так ли? – спросил недоверчивый Келлер. – Господин Румянцев, о чем еще говорила госпожа Степанова с товарками?

– Да о ролях, о па, о группах, в которых стоят фигуранты, о фигурах… о нарядах, – Санька припоминал старательно. – О том, кто на ком женится… о крестинах…

Он слышал-то немного, но это была болтовня, мало интересная мужчине, и возрождать ее в памяти – большая морока.

Келлер задавал еще вопросы, а Никитин отошел к секретеру и уселся писать. Это было не письмо, а записка. Он дождался, пока высохнут чернила, сложил ее и запечатал красным сургучом. Печатка была прямо девичья – с амурчиком.

Санька, вспоминая Глафиру, ощутил знакомый озноб, но теперь уж перед ним было лекарство. Он вдруг налил полную чарку и выпил, не закусывая.

– Это верно, – одобрил Келлер. – Что ж я, остолоп, раньше не додумался?

Возражать Санька не стал – поднялся, потянулся – размять косточки, прошелся. Ему редко доводилось час подряд сидеть за столом, и он уже ощущал потребность в движении.

Когда стоял у окна, Никитин незаметно указал на него Келлеру. Санька себя со стороны не видел, а ведь было на что посмотреть: узок в талии, широк в плечах, строен, и профиль – четкий, красивый, даже покалеченный нос его не портил, а придавал мужественность тонким чертам.

И Никитин задал вопрос – почти беззвучный, и так же беззвучно ответил ему Келлер:

– Сильф?

– Сильф.

Глава четвертая

Федька обыскала чуть не весь театр, покамест поняла – любитель книжек попросту сбежал. Он не захотел объяснять балетной дурочке, что книжки ему вовсе не нужны, и сбежал. Весьма разумно – тем более, он мог неверно понять Федькину бойкость.

До чего же пугливы эти мужчины, подумала Федька, и как с ними трудно…

Надзиратель Вебер увидел ее, когда она уже выходила из зала, и нещадно изругал. Федька побежала наверх – заниматься, а там ее товарки давно уж проделали все батманы, простые и сложные, все плие, половинные и глубокие, все рондежамбы, партерные и воздушные, и вовсю скакали под присмотром господина Канциани, который недавно заменил в должности главного балетмейстера другого итальянца – Анжиолини.

Гаспаро Анжиолини уже успел немало пожить в России – он приехал в 1766 году, сменив учителя своего, Франца Гильфердинга, который не только вернулся в Вену, но и увлек за собой юного любимчика, Тимошу Бубликова. Это было впервые – не итальянец или француз покорял кабриолями российскую столицу, а русский парнишка (сказывали, что из малороссиян) привел танцами в восторг избалованную Вену.

При Анжиолини случилось немало хорошего – и костюмы он велел облегчать, чтобы способнее было делать прыжки, и юбки девицам укоротил, и высокие парики истребил – теперь дозволялась плясать и в своих волосах, причесанных на модный лад. Но вот Театральную школу он вниманием не баловал – и из последних выпусков разве что Вальберха можно было бы поставить вровень с иностранцами-гастролерами. Видимо, из-за этого более трех лет назад выписали Осипа Осиповича Канциани, чтобы навел в школе порядок. Тот оказался умен – и возглавил балетную труппу.

Федьке и тут влетело за опоздание. Она даже не обиделась – не тем был занят ум, он метался и перебирал возможности.

– Что с тобой, матушка? – тихонько спросила Малаша. – Ваперы в голове?

Федька подумала, что надо бы поделиться бедой с подружкой, но потом строго сказала себе: нет! Нравы береговой стражи ей отлично известны, дружба дружбой, а новость разнести – всего важнее.

На середине зала фигуранток выстраивали вокруг Дуни Петровой, заставляли держать на поднятых руках воображаемые гирлянды. Вот с Дуней бы посоветоваться не мешало. Но сперва нужно узнать, сколько запросит за помощь Бориска.

Пока господа из управы благочиния, как шепнула фигурантка Наталья, только тех основательно допросили, кто нашел тело и маску. До того, как Румянцев провел вечер, они еще толком не докапывались, – значит, было то, что французы называют «шанс».

Федька не чаяла дожить до конца репетиции. Она побежала на мужскую половину, надеясь подкараулить возвращавшихся фигурантов. Первым бежал Сенька-красавчик – его, поди, уже санки ждут на площади, у купчихи стол накрыт. За ним поспешал лентяй Петрушка. У самой двери его отпихнул Семен-питух – не иначе, с утра был трезв, а теперь душа выпивки просит. Это не понравилось Ваське-Бесу – так наступил Семену на ногу, что тот заорал. Но связываться с Васькой опасно – драчлив. Обменялись матерными комплиментами. Бориска шел последним – не желал никого пихать и толкать. Федька окликнула, и он подошел.

– Ты чего тут забыла?

Хождение женщин на мужскую половину начальством не одобрялось.

– Дельце есть, без тебя не справлюсь. Ты не бойся, я заплачу! – пообещала Федька, еще не имея понятия, где взять деньги, и кратко объяснила, что за дельце.

– Не выйдет, голубушка, – Бориска для выразительности даже руками развел. – Я вчерашний вечер был в гостях у Вебера.

– Как?!

– Хозяйка моя с его супружницей приятельствует, они и позвали на пирог. Так что врать не буду – это все белыми нитками шито.

– Как же быть? – спросила Федька в отчаянии. – Кому из ваших заплатить, чтобы грех на душу взял?

– А мне заплати! – раздался глумливый голос.

Это Бес беззвучно выбрался из уборной и подслушал разговор. Федька, обернувшись, увидела его ехидную образину и ахнула.

– К начальству пойдешь? Доносить? – в лоб спросила она.

– А пойду. Ишь, придумала, как своего дуралея выгородить! На чужом горбу в рай въехать решила! А ну – кыш отседова! Кыш! – Васька замахнулся.

Хотя драк между фигурантами и фигурантками обычно не бывало, но Васька мог отвесить изрядную оплеуху – как отвесил сгоряча Анисье, когда она в чаконе, идя с ним в паре, спутала шаги и сбила весь ряд. Хорошо еще, что за кулисами.

– А ну, сунься! – потребовала Федька. – Вот только сунься!

– Шел бы ты отсюда, Боренька, – очень ласково сказал на это Васька. – Ты без меня пропадешь, наплачешься… Ступай, говорю!

Он вдруг схватил Бориску за руку, загнул ее до адской боли в локте, подтащил обалдевшего фигуранта к двери и закинул его в уборную с легкостью необычайной.

– А теперь твой черед, дура! Додумалась!

Может, он пугал, может, и впрямь разозлился – Федька разбираться не стала. Вместо того чтобы увернуться и убежать под Васькин победный хохот, она схватила стоявшую у стены колченогую табуретку.

– Башку разобью.

Васька шагнул к ней, еще не веря в угрозу, и Федька со всей дури треснула его по плечу. Табуретка разлетелась, в руке осталась лишь ножка.

– Сука! – выкрикнул Васька. Но суетиться было поздно – он огреб второй удар по голове, с тем Федька и скрылась на лестнице, оружия своего не выпуская.

Васька покачнулся, выругался – и тут увидел, что из дверной щели глядят Трофим Шляпкин и Бориска.

– Ну что вытаращились! – закричал он. – Пошли отсюда!

– Ты на нее в дирекции пожалуйся, убить же могла, стерва, – посоветовал Шляпкин.

– Чтобы я, Бес, на кого в дирекцию просить ходил?! Сам разберусь! Тьфу, чертова девка, шишка вскочит…

Бориска промолчал – и точно, до внутренней политики береговой стражи начальству дела нет. Это повздоривших первых дансерок оно мирить еще станет, а береговую стражу – да пошла она лесом! Штраф из жалованья вычтут – вот и вся забота. Защитить Федьку он даже не попытался.

А она уже стояла внизу, не выпуская из руки оружия. Ярость накатила – вот пусть только спустится проклятый Бес!

И он действительно спустился на несколько ступенек, да еще и нагнулся, чтобы увидеть Федьку сверху. Фигурантка погрозила ножкой от табурета. Он спустился еще немного.

– Ишь ты, какая горячая. Кабы не рожа – цены бы тебе не было, Федора. Только зря стараешься – все равно он на тебе не женится. Поняла, дурища?

– Не твое собачье дело.

– Не женится, не женится! Как ты ни стелись! На черта ты ему сдалась!

– Вы чего тут разорались? – спросил, идя мимо, пожилой хорист Бахметов. – Напроситесь – Вебер прибежит…

Тогда Федька пошла прочь. Нужно было спешно найти деньги. Если не книги продать – то что же? И если не Бориску упросить – то кого же?

В уборной Федьку ждала новость – фигуранток спешно вызывали на репетицию «Ямщиков на подставе». Там в финале задуман был пышный и многолюдный русский танец. Ставить его доверили русскому же балетмейстеру, как оно обычно бывало в комических операх, написанных в народном духе. На сей раз танцы сочинял Иван Стакельберг – и злые языки толковали, что он, плясавший еще в премьерном спектакле Анжиолиниевых «Забав о Святках» двадцать лет назад, немало оттуда позаимствовал.

– Вот с ним станешь, – Стакельберг указал на Ваську-Беса. – Пойдете первой парой.

Федька подошла к фигуранту; руку ему протянула не глядя, и он – точно так же. Ей было не до танцев – нужно выручать из беды Саньку!

В том, что он был у Анюты, Федька почти не сомневалась… И в его неспособности убить человека тоже. Вот Дуня – та, пожалуй, могла бы. Озлобилась она. А в Саньке сильные страсти не бурлили – разве что безмолвную любовь к Глафире можно бы назвать страстью, так ведь и выплеснулась она лишь после Глафириной смерти.

Во время танца Бес, улучив миг, сильно толкнул Федьку – надеялся, что упадет. Она сбилась с шага, но выровнялась и даже сложила губы в умильную улыбку. При следующем соприкосновении рук она захватила Васькин палец и вдруг резко его вывернула. Фигурант вскрикнул и зашипел. Но репетировали не под скрипку, а сразу под оркестр – музыка заглушила, обошлось…

Федька хорошо знала, что в таких стычках нельзя отступать. Иначе сядут на шею. А у нее не стоит за спиной дородная купчиха с молодцами, как у Сеньки-красавчика. Вон ведь и Дуня – через что не прошла, лишь бы выбиться в дансерки, и никому спуску не давала. Сказывали, была на женской половине лет пять назад драка из-за роли с выдиранием волос и царапаньем рож, так она соперницу одолела, пинками прогнала чуть ли не через весь театр. Правда, где-то в начальственных постелях потеряла она обычную человеческую улыбку, теперь, когда на сцене нужно улыбаться, скалится.

Как только репетиция окончилась, Федька сразу побежала на женскую половину – мало ли что ударит в дурную башку разгневанному Бесу. Она уже сняла танцевальные юбки и надела обычные, когда вошла хористка Груня Петухова и поманила ее пальцем.

– Там Бес велел тебе сказать – хоть ты и дурища, да он зла не держит, – сообщила Груня. – Только, сказывал, чтоб ты никого из береговой стражи в свои шашни не путала. О чем это он?

– Да размолвка у нас вышла, – туманно ответила Федька.

– Слышь-ка, он тебя внизу ждет, – зашептала Груня. – Ты не дури, он ведь и жениться может…

– Кто, Васька?!

– А что? За ним не пропадешь.

– Так он что, тебя свахой прислал?

– А коли так? Да не пужайся, не пужайся, он еще только потолковать хочет. Ты, Федорушка, приглядись, он молодец исправный, ему тридцать всего – не смотри, что харя мятая… И Малашка ему не нужна, ты не думай, ничего у нее не выйдет. И Наташка не нужна – она же скупердяйка, лишней копейки на юбку не потратит, за Анюткой Платовой донашивает…

Замуж за Ваську-Беса Федьке не хотелось совершенно. И сейчас, после стычки, она что-то вовсе не верила в его благие намерения.

– Пойдем вместе, Грунь? – попросила она. – При тебе как-то лучше…

– А пойдем! – сразу согласилась хористка, предчувствуя событие, о котором можно всем рассказать.

Васька-Бес, еще в танцевальных штанах и рубахе, действительно ждал внизу.

– Ты вот что, сударыня, – строго сказал он. – Коли к нашим перестанешь приставать, я тебе скажу, кому надобно заплатить деньги, чтобы вышел прок.

Он вынужден был говорить загадочно, чтобы Груня ничего не поняла.

– И кому? – спросила Федька.

– Девкам. Я тебе покажу, где у Сенной сводня живет. Сперва – сводне, потом – девке, поняла?

– Поняла…

Груня смотрела то на Ваську, то на Федьку в полном недоумении. И впрямь – на что фигурантке Бянкиной сводня и девки?

– Но они дешево не возьмут. Дельце такое…

– Да уж ясно…

Федьке замысел понравился. Только денег-то все равно еще не было – а требовались срочно.

– И от Бориски-дурака отстань, не то ведь втравишь в свои затеи – добром не кончится…

Тут Груня совсем в изумление пришла. А Федька поняла, что именно Бориска ей сейчас и нужен. У него есть всякие знакомства – так, может, кому нужна в дом учительница танцев для девочек и мальчиков? Это – деньги, которые появятся не сразу, ну так было бы место, а до той поры, как жалованье получать, можно и в долг взять у той же Анюты… можно даже растолковать ей, на что деньги нужны…

Васька, ухмыляясь, глядел на озадаченную Груню и погруженную в размышления Федьку.

– Эх! – воскликнул он и вдруг запел скабрезный куплетец: – Не тешуся я так весной в садах цветами, Как тешусь я девиц под юбками…

– Пошел, пошел отсюда! – смеясь, закричала Груня.

Он, извернувшись, схватил хористку за грудь, быстро сжал – и тут же исчез, улетучился.

– Ну что ты с охальником станешь делать? – спросила Груня. – Федорушка, а ты подумай… Не я ж ему нужна – это он для тебя старается!

И Федька подумала – о том, что если их с Бесом поместить на ночь в одну комнату, то поутру там найдут два трупа.

Ей удалось подкараулить Бориску и задать свой вопрос о приработке.

– Да нет, ничего на примете не имеется… – задумчиво ответил Бориска. – Хотя… да ты ведь не согласишься…

– На что не соглашусь?

– Есть человек один, я с ним свел знакомство в типографии, когда узнавал, кто бы взял мой «Словарь». Он живописец и малюет греческих богинь. Сейчас у него есть хорошие заказы. Он спрашивал – не согласится ли кто из фигуранток позировать, да я сразу сказал – этих не уговоришь.

– Отчего не уговоришь?

– А оттого, что позировать надо нагишом.

– А дорого ли платит? – ни на миг не задумавшись, спросила Федька.

– Платит хорошо – два часа голая у него там посидишь, и рубль – твой. Он почему фигурантку взять хотел – ему тело красивое нужно, а не то что у девок с Сенной…

– Рубль за два часа? – это и впрямь была царская плата.

– Ну, за три, откуда я знаю…

– И что – только сидеть нагишом, ничего больше?

– Он кавалер видный, с ним всякая и без денег пойдет, – уверенно сказал Бориска. – Кабы какой пенек трухлявый вот так заманивал позировать, чтобы в постельку уложить, иное дело. А этому – я чай, незачем.

– Сведи меня к нему, – потребовала Федька, уже прикидывая – не даст ли живописец рублей пять аванса, и тогда уже можно будет вести переговоры со сводней.

Вечером назначена была опера «Мельник – колдун, обманщик и сват», которая также не обошлась без русской пляски. Бориска с Федькой условились сразу после представления ехать к художнику.

Фигурантка сильно волновалась, подмазывая лицо белилами. Надо понравиться, непременно надо понравиться… Жаль, что хорошее платье – дома, а это, зеленое, – обыденное.

– Наташенька, нет ли у тебя ленточки? – спросила Федька, помышляя хоть как-то освежить скромный наряд.

– Бери, душа моя. Постой, я тебе сама завяжу.

И простенькое платье украсилось бойкими розовыми бантиками. Чтобы их не помять, Федька не стала застегивать шубку и побежала вниз.

Бориска стоял у черного хода в плисовой старой шубе и улаживал какой-то груз за пазухой.

– В такое время он уже, поди, дома, – сказал Бориска. – У тебя пятак на извозчика будет?

– Будет.

Извозчики на Карусельной площади не переводились.

И даже полчаса спустя после спектакля там околачивались – ждали господ артистов. Бориске даже не пришлось выбегать на видное место, махать руками.

– К Строгановскому дому, – велел Бориска. – Садись, сударыня.

Они катили по белоснежным улицам, по дороге разговаривая о «Ямщиках на подставе». Федька сама себя занимала разговорами, чтобы не бояться. Слыханное ли дело – сидеть голышом перед мужчиной два часа кряду.

– Стой, стой! – крикнул Бориска извозчику и помог Федьке выбраться из санок. Она оглядела окрестности. Место было незнакомое – да и неудивительно, Федька плохо знала столицу. Дорога от театра до жилья, квартиры товарок, дедово жилище на Васильевском, Невский, не бывать на котором было бы уж вовсе неприлично, Гостиный да Апраксин двор – вот каков был ее Санкт-Петербург. За Невским она знала разве что Зимний дворец да Деревянный театр, куда с товарками ходила смотреть комедии. Но она отметила красоту пейзажа – белые от инея деревья, белый лед внизу – то ли на Мойке, то ли на Фонтанке, Федька не поняла, куда их с Бориской доставил извозчик. Это был точно не Строгановский дворец, а двухэтажный домик во дворе. К нему вела расчищенная дорожка. Бориска пошел первым, Федька – за ним. На крыльце они отряхнули рыхлый снег, Бориска постучал.

Ему открыл служитель, сильно смахивавший на дом, – широкий, немолодой, одетый просто, но в кафтан из хорошего и плотного немаркого сукна, цвета вер-де-гри, и чулках свежих, плотно натянутых, хотя не шелковых, а шерстяных – здешний хозяин заботился о здоровье слуг.

– Барин дома, Григорий Фомич? – спросил Бориска. – Я ему гостью привез, так и скажи.

– Барин уже укладываться собрались, – строго отвечал служитель, – ну да для вашей милости выйдет. Давайте тулуп, я повешу.

Бориска помог Федьке снять шубку – ах, шубка-то старая, как бы живописец не понял, что этой особе можно и гроши заплатить, она к большим деньгам не приучена…

– Пожалуйте в гостиную.

Тут уж Бориска пропустил Федьку вперед, и она вошла, немного робея.

Гостиная была невелика, убрана опрятно, без роскоши – если не считать картины на стенах. Григорий Фомич зажег свечи, водрузил на стол подсвечник и пошел за барином, а Бориска ухватился за раскрытую книжку, горбом вверх лежавшую на диване.

– Гляди-ка, – сказал он Федьке. – Мармонтель, да в русском переводе! Роман «Инки» – ну, это не всякому любопытно. Знаешь, кто такие инки?

Федька не знала – литература у балетных была не в чести, недаром читатель Бориска слыл придурковатым, и чтением для самых образованных служил кургановский «Письмовник» с его краткими, чтобы не утомить читающих, рассказами и повестушками. И ей было безразлично, что где-то в Америке жили какие-то люди чуть ли не до Рождества Христова. Она даже не могла бы показать на глобусе эту самую Америку, хотя не так давно там какая-то страна воевала за свободу, и рассказывали, будто туда поехал драться даже какой-то молодой французский маркиз – дома ему не сиделось… Прозвание маркиза в Федькиной голове застряло, но где-то затерялось, и она пыталась припомнить – видела же и портрет остроносого красавчика с пронзительным взглядом, и имя под ним! – когда в гостиную вошел хозяин дома.

Взгляд у него, строгий и испытующий, был – ни дать ни взять, как у того маркиза.

– Здравствуйте, сударь, простите нам поздний визит, но спектакль совсем недавно окончился, – сказал Бориска. – Вот я привез девицу Бянкину. Сударыня, честь имею представить господина Шапошникова.

Это был мужчина старше тридцати, с простым округлым лицом, кабы отрастил бороду – ни дать ни взять оброчный мужик, пешком пришагавший в столицу на заработки откуда-нибудь из-под Порхова; ростом – выше среднего, сложения – крепкого, танцевать в балет его бы уж точно не взяли. Когда он заговорил, обнаружилась примета – некоторое расстояние между верхними резцами. Федька вспомнила – в уборной толковали о признаках мужской страстности, и эту зубную прореху тоже упоминали. Она посмотрела на живописца с тревогой – вот только его страстности недоставало… Но он ответил ей преспокойным, даже высокомерным взглядом, говорившим: такие, как ты, мне не надобны. Вот и слава богу, подумала Федька.

И тут раздался голос из угла.

– Спр-р-раведливость востор-р-ржествует! – возгласил он.

– Проснулся оратор. Накинь на клетку платок, – сказал господин Шапошников Григорию Фомичу. – Рад знакомству, сударыня.

– Ну, тихо, Цицеронушка, тихо, – забормотал Григорий Фомич, окутывая попугаеву клетку.

– Я также рада, – отвечала Федька и присела.

– Вам господин Надеждин все объяснил?

Федька не сразу вспомнила, что Надеждин – это Бориска.

– Да, сударь.

– Сегодняшний вечер… то, что от него осталось, сударыня, посвятим знакомству. Писать вас при таком освещении решительно невозможно, писать я буду утром. Для обнаженной натуры нужен утренний свет. У меня есть подходящая комната.

– Утром я не могу, репетиция, – печально сказала Федька.

– А ты скажись больной, – посоветовал Бориска. – У вас, у женщин, есть известная хворь – не побежит же Вебер к тебе домой проверять!

– Сегодня я могу вас посмотреть и сказать, подходите ли вы мне. Григорий, отведи ее милость в палевую комнатку, пусть приготовится.

– Как приготовится? – спросила ошарашенная Федька.

– Вам придется раздеться, сударыня. Я хочу быть благонадежен, что вы мне подходите.

– Я не смогу одна.

И это было чистой правдой – чтобы скоро управиться со шнурованьем, требовалась помощь.

– У меня в хозяйстве женщин нет. Господин Надеждин, вас не затруднит? – сохраняя высокомерное выражение лица, полюбопытствовал Шапошников. Федька поняла – Бориска, рассказывая, изобразил ее своей любовницей. Сперва стало неловко, а потом – наступило известное ей ледяное состояние: пропади все пропадом, мне от этого человека нужны деньги, и я их заработаю. Что он при этом обо мне будет думать – не моя печаль!

Именно в таком состоянии она разучивала антраша-сиз и пируэты – плевать, что не дадут выбиться в первые дансерки, плевать, что ее турдефорсы оценят лишь товарки в зале, заноски в антраша будут четкими и спина в пируэтах – как струна, прочее – неважно.

Палевая комнатка оправдывала название – обои в ней были соломенные, нежного цвета, со скромной вышивкой, и Федька подумала – без женщины не обошлось. Кроме обоев имелись кровать, стул, старый комод и туалетный столик. Видимо, здесь обитали гости.

– Повернись-ка, – сказал Бориска и поставил подсвечник на туалетный столик.

Господин Шапошников в гостиной меж тем приказывал Григорию Фомичу зажечь еще свечи.

Федька, расшнуровавшись, разделась быстро – театральное ремесло приучает к скорому обхождению с одежками, и когда за пять минут нужно преобразиться из вакханок в пейзанки – осваиваешь сие искусство, иначе все жалованье уйдет на штрафы.

Она осталась в одной сорочке и в чулках. Тут вдруг сделалось неловко.

– Хочешь, я отвернусь? – спросил Бориска. – Или ты ступай, а я тут останусь?

– Нет.

Она сдернула и сорочку, и чулки, босиком вышла в гостиную. Господин Шапошников ждал ее с подсвечником в руке. Несколько мгновений оба молчали.

– Благодарю, – холодно сказал господин Шапошников. – Повернитесь.

– Тут следы от подвязок… они пройдут!..

– Благодарю. Ваше тело мне подходит. У вас хорошая линия бедер и лядвей, талия весьма достойная, грудь охотницы Дианы, это прекрасно. Ступайте, одевайтесь, можете не шнуроваться.

– Отчего?

– Я предлагаю вам переночевать здесь, чтобы с утра вы были свежей и не беспокоились о подвязках. Все потребное у меня есть – Григорий принесет дамский шлафрок и большую шаль, утром я пошлю его в Гостиный двор, коли что понадобится.

Федьке было неловко глядеть в лицо господину Шапошникову, она смотрела на его туфли – новые, с модными стальными пряжками, и стоял господин Шапошников именно так, как учат балетных танцовщиков, – почти в третьей позиции, носками врозь.

Уж в чем, в чем, а в ногах Федька разбиралась. Если бы мужская часть труппы высунула из-за нарочно изготовленного занавеса голые ноги, она бы точно сказала: вот эти, с удлиненной узкой стопой и высоким подъемом, – румянцевские; эти, по-женски гладкие, с худеньким коленом, – Борискины; эти, слишком тонкие, но в колене красиво выгнутые, – Трофима Шляпкина. Господин Шапошников имел ноги крепкие, с отчетливо вылепленными икрами, и на вид – очень сильные.

Ладно, подумала Федька, ты на мои ноги таращишься, я на твои ноги таращусь, вот мы и квиты.

– Да ступайте же! – господин Шапошников несколько повысил голос. – Я живу без роскоши, но чай и пряники могу предложить. Насколько знаю, танцовщики ужинают поздно.

Федька, почему-то пятясь, вошла в палевую комнатку.

– Ну что? – спросил Бориска.

– Там мне шлафрок и большую шаль обещали, принеси, – ответила Федька, решив, что шнуроваться уже незачем. Накинув сорочку, она села к зеркалу. Свет двух сальных свечек был именно таков, как требовалось, – скрывал недостатки лица. А то, что грудь, как у Дианы-охотницы, она знала – видела картины, когда вызывалась для танцев в Эрмитажный театр. Только ей всегда казалось, что это не очень хорошо – грудь у красавицы должна быть пухленькая, пышная.

– Он доволен?

– Да. Только как бы вперед денег взять? Потолкуй с ним, Христа ради. Ты же знаешь, на что деньги нужны.

– Ты, матушка, дурью маешься.

– Не твоя печаль.

Бориска вышел и принес шлафрок – не шитый золотом, а просто теплый, темно-синий, очень широкий. Минуту спустя появился Григорий Фомич. К удивлению Федьки, он и маленький чепчик достал из комода. Видимо, какая-то молодая толстушка в этом доме бывала, отчего бы нет – господин Шапошников кавалер изрядный.

Когда сели за стол, выяснилось, что Бориска принес за пазухой. Это были исписанные листы, среди которых помещалась толстенькая книжица.

– Опять совета жаждешь? – спросил Шапошников, глядя на бумаги, выложенные между блюдом с нарезанным холодным мясом и другим блюдом с немецкими сосисками (пряники оказались выдумкой хорошего хозяина, у коего в любое время сыщется, чем гостей попотчевать).

– Жажду, Дмитрий Иванович.

– Замысел твой мне приятен, только проку от него будет мало. Ты ведь пишешь про тот нелепый балет, который у нас сейчас имеется, а надо бы написать про иной – который должен быть. В котором никто не выйдет на сцену плясать в маске. То бишь – исправлять нравы обращением к идеалу. Угощайтесь, сударыня, сейчас поспеет чай.

– Но есть персонажи, которые требуют масок – это фурии, тритоны, ветры, фавны. Какой же тритон с человеческим лицом? – спросил Бориска.

– А отчего бы нет? – вопросом же отвечал Шапошников. – Мир изображался в виде вставшей дыбом географической карты, и его одежды украшались большими надписями – на груди «Галлия», на животе – «Германия», на ноге – «Италия», и наше счастье, что в Парижской опере смутно представляли себе, что есть Россия, – страшно подумать, куда бы они ее поместили. Или вот Музыка – она являлась в кафтане, исчерченном нотными линейками, и со скрипичным ключом на голове. Это были аллегории, достойные того века, но для нас они грубы. Если выйдет красивая девушка с лирой в руках – мы поймем, что это Музыка, и без скрипичного ключа. Мы поумнели, сударь!

– Откуда вам все сие известно? – удивился Бориска.

– Я читал «Письма» господина Новерра.

– Вон оно что… И я из них куски беру… Но погодите! – воскликнул Бориска. – Маски в большом театре необходимы! Для тех, кто смотрит балет с галерей! И не знает его содержания! Когда танцовщики в масках зеленых или серебристых – то они тритоны. Когда в огненных – демоны! В коричневых – фавны! Маски нужны для ролей маловыразительных! Что выражает Ветер кроме силы стихии? Он же ничего не говорит пантомимически, он лишь крутится и проделывает турдефорсы! И он не может держать все время щеки надутыми – как же без этих щек публика догадается, что он – Ветер?

– Есть еще одна причина сохранить маски, сударь, – добавила Федька. – Вы не видали наших танцовщиков в зале на репетициях, а я видала и знаю, какие они корчат рожи, выполняя трудное движение. Уж лучше маски, чем эти страшные рожи, ей-богу!

– Я рож не корчу! – возразил Бориска.

Федька хотела ответить язвительно: ну так ты и турдефорсов не проделываешь. Но пожалела приятеля. Да и какие турдефорсы у береговой стражи? Ей блистать не приходится – это первый дансер должен проделать пируэт в семь оборотов или двойной кабриоль, да чтобы ноги после каждого удара икрой об икру раскрывались четко, внятно, а береговая стража, коли сделает разом и в лад антраша-катр, то и отлично.

– Это аргумент, – согласился Шапошников. – Возражать не смею. Но я заметил любопытную вещь – при турдефорсах корчат рожи мужчины, женщины же умудряются удерживать на устах улыбку. Выходит, сие возможно, и рожи – всего лишь от неумения и распущенности.

– Женские проще и легче мужских, сударь, – возразила Федька. – На сцене женщины делают антраша с четырьмя заносками (она показала руками, как обычно показывают танцмейстеры, скрещение в воздухе натянутых стоп), а у мужчин – шесть, у виртуозов – восемь. Женщины лишь недавно стали делать пируэты, у нас в труппе двойной делают только госпожи Казасси и Бонафини, но не очень хорошо. И еще я, недавно выучилась. А у мужчин – пируэт в шесть и в семь оборотов, того гляди, за кулисы улетишь или в декорацию уткнешься.

– А еще? – господин Шапошников, видимо, забавлялся Федькиным азартом.

– Еще кабриоль. Сделать простой кабриоль вперед нетрудно, это и вы, сударь, сможете. Главное – после удара четко раскрыть ноги. Кабриоль у нас все девицы делают, и вперед, и назад. А двойной – только мужчины, и не все.

Тут же память представила Саньку, который учился делать двойной кабриоль, но получалась какая-то мазня.

– Да что ты, сударыня, про такие скучные предметы заговорила! – не выдержал Бориска.

– Вы любите танцевать? – спросил Федьку господин Шапошников.

– Это мое ремесло.

– Ремеслом и из-под палки занимаются. Танцевать вы любите, сударыня?

– Да, – подумав, ответила Федька. В конце концов, что у нее в жизни было?

Стоило выходить на сцену хотя бы ради того, чтобы перед тобой там преклоняли колено, почтительно брали за руку, заглядывали в лицо умильно или страстно. Только на сцене Федька и ощущала себя женщиной…

– Но вы ведь в береговой страже состоите?

– У меня нет покровителя.

– Это плохо?

Федька вспомнила толстого откупщика, которого подцепила Анюта Платова.

– Нет, это не плохо, – ответила она строптиво. – Я на хорошем счету, а что будет дальше – ну… как Бог даст…

– Вы избрали своим покровителем Бога?

– Ну… Да.

На самом деле Федька не была великой молитвенницей – да и театр располагает не столько к истовой вере, сколько к тысяче суеверий. За попытку насвистеть танцевальный мотив могли и прибить – свист к большой беде, к провалу премьеры, к плохим сборам. Все крестились перед выходом на сцену – и почти все заводили интриги, мало беспокоясь о венчании.

– Это хорошо, – сказал господин Шапошников. – Этот не подведет.

Глава пятая

Молодая женщина, сидя у туалетного столика, готовилась отойти ко сну. На ней поверх вышитой ночной сорочки был алый бархатный шлафрок, и она смотрела в зеркало – наблюдала, как горничная девка надевает ей пышный, отделанный дорогим кружевом, батистовый чепчик, и улаживает под него густые русые волосы, накрученные на папильотки.

– Не так, назад сдвинь, – приказала она. – Вот дура… еще… Ну что за дура. Пошла вон. Ты, мамзель, бери книжку, читай. Так, глядишь, продержимся, пока мой не приедет.

В зеркале отражалось правильное лицо, почти идеальное – но идеал был рукотворным. Чуть-чуть румян в нужных местах, чуть-чуть сурьмы, а главное – мраморная неподвижность. Лицу не позволялись даже улыбки – а не то что гримасы. Оно было вышколенным, это удлиненное лицо, и женщина привыкла сдерживать те чувства, что чреваты морщинами.

Поэтому кавалеры, глядя на ее красоту, дали бы ей от силы двадцать пять, а дамы не пожалели и тридцати, даже тридцати двух.

Часы в гостиной пробили полночь.

Чтица, несмотря на поздний час, одетая, как для визитов, и зашнурованная, взяла две книжки – на выбор.

– Изволите русскую или французскую? – спросила она.

– Какая у нас русская?

– «Душеньку» в прошлый раз приказывали читать, сочинение Богдановича.

– Нет, сон нагонит. Нет ли чего новенького? Сказывали, ты днем сидела, в тетрадку что-то списывала.

– Новую стихотворную сказку господина Княжнина, сударыня, про попугая. Принесли на два часа.

– И что, долгая?

– Долгая, сударыня, и пресмешная. Войдет в большую моду.

– Неси тетрадку. Хоть повеселиться…

Девка, которая еще не убралась, помогла хозяйке лечь, подмостила ей под локоток и под шейку подушки, укрыла одеялом, и тогда только, поклонившись в пояс, ушла.

Чтица села на стул у постели и поднесла тетрадь близко к лицу.

– Не дура ль ты, мамзель? Ведь ослепнешь когда-нибудь. Возьми другую свечку.

Сказка была не совсем для дамского чтения – о том, как попугай, воспитанный богомольной старушкой, нахватался неудобь сказуемых словечек, и что из этого получилось. Но дама, лежавшая в постели, одобрительно кивала. Смеяться она не желала, а чтица уж привыкла к такой причуде.

Читала она внятно, выразительно, меняя голос всякий раз, когда говорила за старушку, ее дочку, ее сынка-повесу и самого главного героя – речистого Жако. Тут в дверь спальни поскреблись, и девка в щелку доложила, что прибыл барин.

– Ступай, мамзель, пройди через гардеробную, – приказала дама. – Завтра поедешь со мной по лавкам.

Это была награда – закупая себе лент, кружев, пряжек, пуговиц и чулок, дама обычно делала подарки той, которая была звана с собой. А прислуга в доме жила достойная: кроме чтицы учительница музыки и пения, француженка-куаферша, компаньонка Марья Дормидонтовна, знавшая чуть не сотню пасьянсов, компаньонка фрау Киссель, умевшая раскладывать карты на все случаи жизни, от пропажи до бракосочетаний. И все эти женщины имели горничных – хотя бы одну на двоих, и все должны были одеваться по моде, чтобы не позорить хозяйку. Что касается фрау Киссель, то от нее особого блеска не требовалось – фрау под шестьдесят, но

чтице приходилось модничать не на шутку, а она была пухленькая и всякий раз, утягиваясь, маялась.

Сделав глубокий реверанс, чтица ушла, а ее хозяйка легла пособлазнительнее – выложила на подушку большую полуобнаженную грудь. Она прислушивалась, услышала шаги, немного подалась вперед – как если бы проснулась и затеяла вставать.

Дверь отворилась, вошел мужчина, стягивая на ходу фрак.

– Ну, наконец-то, душа моя, – сказала она. – Я заждалась, еще немного – и уснула бы. Ступай сюда…

– Погоди, Лизанька. У нас…

– Не могу. Ступай ко мне! Я весь вечер думала о тебе, беспокоилась, что обидела, и уж не знала, как вымолить прощение!

– Ты дурочка, – ответил мужчина. – Как я могу на тебя обижаться? Так вот…

– А что ты удивляешься? Когда кто кого любит, то всегда беспокоится, как бы не обидеть. Я за тебя по любви шла! И знаешь ли – я слыхала, что у всех, когда десять лет вместе проживут, любви не остается вовсе, муж на своей половине спит, жена – на своей, и в гости не ходят. У всех! А мне – так кажется, что в тот день, когда ты захочешь в другой постели ночевать, у меня сердце остановится! Право, право! Послушай, как бьется!

Рука легла на грудь и была еще для пущей надежности прижата.

– Да погоди ты, Лиза, не могу же я лезть в постель в туфлях! Выслушай же меня!

– Давай я тебе расстегну!

– Лежи, лежи… ты под одеялом угрелась…

– Я тебе местечко грела. Потуши свечку!

Минуту спустя мужчина был уже в постели, и началась та самая игра, которой хотела женщина. Однако была она недолгой.

– Как хорошо, – прошептала женщина. – Знаешь, душа моя, чего я боюсь? Что ты когда-нибудь соблазнишься молодой девкой. А я ей уж буду не соперница…

– Ты вздор городишь, Лиза. На что мне девки? Когда есть жена?

– Так годы не красят, а мужчины очень хорошо видят, когда женщина стареет. Поцелуй меня!

– Вот тебе – а теперь послушай меня наконец, я дело скажу.

– Говори, светик.

– Мы от дансерки избавились.

– Как? – воскликнула женщина. – Не может быть!

– Еще как может. Сегодня весь город о том только кричит, что ее нашли удавленной в театре.

– И кто удавил?

– Не твое дело. Каким-то непостижимым образом и формальный убийца у нас есть – фигурант, который за ней махал и от того умом повредился.

– Как славно! А что Ухтомский?

– Еще не давал о себе знать. Не удивлюсь, коли он еще не слыхал…

– Ох, Николенька, что будет…

– Пожалей его, пожалей…

– И пожалею. Каково это, когда любишь?..

– Так кто ж мешал любить-то? Люби, сделай милость! Хоть вовсе у нее поселись! У всех дансерок покровители имеются – эта, чем лучше? Так нет – душа у нее чувствительная! Вот ей эти сантименты господина Ухтомского и вышли боком.

– И я чувствительна, мой друг…

– От твоей чувствительности никому вреда нет, а она чуть большую беду не устроила.

– Душа моя, как это было?

– Тебе про то знать незачем. Спи, Лиза. Ты уж молилась на ночь?

– Да, конечно…

– Так и спи.

Сам он заснул скоро, а Лиза, отодвинувшись к самой стенке, смотрела на лицо с приоткрытым ртом – лицо много повидавшего пятидесятилетнего мужчины, уже не очень здорового, склонного и к выпивке, и к обжорству. Если он и был смолоду хорош собой, то теперь преждевременно сделался по-стариковски зауряден. Лиза хмурилась – уж который раз она не получила того, что было ей необходимо.

– Ничего, голубчик, ничего… – прошептала она. – Дай срок…

Выбравшись из постели, Лиза на ощупь подошла к двери гардеробной. Там обыкновенно спала девка, чтобы при первом зове поспешить в спальню. Ее войлочный тюфячок лежал у самой стены. Лиза от домоправительницы Настасьи Ивановны знала, кто из сенных девок дрыхнет без задних ног, тех на дежурство в гардеробной и велела ставить. Незачем им при каждом шорохе просыпаться и подслушивать, а коли понадобится – у кровати на столике, возле подсвечника стоит колокольчик – да и не просто колокольчик, а целая судовая рында – мертвого из гроба подымет.

Не первый раз в потемках через гардеробную было хожено – Лиза проскочила быстро и бесшумно.

Самое неприятное, что ей предстояло, – перебежать через двор. Зимней ночью, в одном шлафроке и комнатных туфлях на босу ногу, в батистовом чепчике – это было опасно, не свалиться бы наутро в жару. Лиза постояла на поварне у остывающей печи, словно набирая впрок тепла, отодвинула засов на двери, выскочила и понеслась по расчищенной дорожке.

Конюхи жили во флигеле. Николенька лошадей любил и холил, выписал для них англичанина берейтора, тот приехал с помощником, а для черной работы имелись свои люди – вчетвером справлялись.

Кучер Фролка был балованный – его наряжали, посылали ему угощенье с барского стола, поселили в отдельной комнатушке. Один был запрет – жениться, оговоренный между ним и хозяйкой втихомолку. К нему-то Лиза и спешила.

Зная причуды барыни, он дверь не запирал. Как обыкновенно бывало, она ворвалась и сразу полезла под одеяло. Ни единого слова не сказала – да и какие слова, когда все ясно. И ласк не требовала – и без них была горяча.

Фролка, детина здоровенный, экипирован был знатно и силу имел великую – Лизе, пожалуй, так много и не требовалось. Ее раздражение после амурной возни с супругом кучер устранил без затруднений – и теперь она была совершенно довольна. Потом молча отдыхала – говорить тут было не о чем, да Фролка и побаивался: сморозишь чушь, рассердишь барыню, перестанет жаловать своей милостью.

Заговорил он, когда Лиза собралась уходить.

– Матушка-барыня, что тебе по снегу ножки морозить. Прикажи – в охапке до двери донесу.

– Донеси, – позволила она.

И когда ехала, обхватив Фролку за шею, тихонько засмеялась, что делала она редко. А потом запела.

Это была странная песня, кучеру неизвестная, однако не задавать же барыне вопросы.

– Лиха беда начало, лиха беда начало, – пела Лиза на мотив модной песенки. – Лиха беда начало.

Фролка поставил ее на крыльцо, она похлопала его по плечу, как верховую лошадь по шее после хорошей прогулки. И кучер, премного довольный, побежал обратно, а Лиза вошла в поварню и задвинула дверной засов.

Там опять постояла у печки, собралась с духом и пошла в спальню.

По дороге Лиза, видать, вела какие-то умственные подсчеты, потому что, оказавшись у постели и поглядев на супруга (он с головой забрался под одеяло и свернулся, так что виден был какой-то смутный неровный сугроб), сказала:

– А тебе, батюшка мой, быть четвертым.

Если бы Лиза в тот миг не стала карабкаться на постель, а подошла к окошку и отворила его, да еще имела нечеловечески острое зрение, то увидела бы летящую стрелу, что наискосок пересекла по воздуху курдоннер перед парадным входом и по рассчитанной пологой дуге ушла за высокий забор, к Фонтанке.

Рано утром по ту сторону забора появился человек в светлом тулупе, такой же шапке и с потайным фонарем, закутанным в полотенце. Этот человек медленно шел по пустынному пространству между участком, который занимал особняк Лисицыных, и рекой.

Он старательно изучал великолепные сугробы напротив забора. Каждое сомнительное пятно освещалось на краткий миг. Так была найдена веревочка. Потянув за нее, человек вытащил из снега стрелу. За углом его ждали санки, и он укатил.

Утром Лиза и ее супруг занялись каждый своим делом. Обсуждать при слугах историю с дансеркой они не стали – да и незачем. Супруг, Николай Петрович Лисицын, позавтракав, пошел в кабинет отвечать на письма и ждать поверенного – он впутался в заковыристый судебный процесс, отнимавший прорву времени и денег, из-за сомнительных прав на две деревеньки под Саратовом. Лиза приказала закладывать сани, чтобы, как было договорено, ехать по лавкам и к мужниной родне.

Идя к сеням, Лиза увидела склонившегося в поклоне Матвеича и улыбнулась. То, что Матвеич в доме, – хороший знак. Значит, дело, к которому наконец удалось приступить, продвигается, и он мужу принес новые сведения. Матвеич, правда, бескорыстием не мается, в его годы оно и смешно, однако лучше заплатить ему сто, двести, триста рублей – и потом получить многие тысячи. Если бы только можно было отдавать ему приказы напрямую, минуя тугодумную голову супруга… он догадлив, одна беда – слишком высоко ценит некую давнюю услугу…

Матвеич выпрямился, взоры встретились.

– Я к тебе благосклонна, – без слов сказала Лиза. – Ценю твое усердие. Потрудись – и я тебя не забуду…

– Уж не ты ли, добрая барыня, все это затеяла? – столь же безмолвно отвечал Матвеич. – Давно пора…

И пошел прочь – невысокий, коренастый, плешивый. Эта откровенная плешь, которую он даже не старался прикрыть, Лизу отчего-то беспокоила. Человек, пренебрегающий париком, в ее богатом доме был явно не ко двору. Да и держался уж больно по-хозяйски. С этим во благовременье придется что-то делать…

Чтица, небогатая и немолодая особа, лет двадцати восьми, из семьи вконец обрусевших французских дворян, взятая за знание языков, ждала Лизу в сенях, уже одетая, чтобы не получить выговора за нерасторопность. Третьей взяли с собой горничную девку Палашку – для услуг. Если бы ехали летом – то и болонку Колетту бы прихватили, и левретку Зизи. Но морозить собачек на петербуржском ветру хозяйка не пожелала.

Особняк Лисицыных стоял в хорошем месте, за Троицким храмом. Зимой оттуда было очень удобно добираться до Невского. А там и в мороз – гулянье, прекрасные экипажи, встречи и веселье в модных лавках, хоть весь день блистай и радуйся.

– А обедать поедем к сестрице Катерине Петровне, – сказала Лиза, выходя в сени. – Что, мамзель, не замерзнешь?

– Нельзя, сударыня, – отвечала чтица.

На крыльце Лиза встала, запрокинула голову, вдохнула полной грудью. Ей было хорошо. Все, чего она желала, давалось в руки – и новости были удачными, и ночь сложилась хорошо.

– Едем, мамзель!

Лиза любила эти зимние поездки – по прямой, не хуже Невского, Загородной улице можно было отлично разогнать санки. Именно с этой целью Лиза настояла, чтобы Николай Петрович самолично выбрал на конном заводе графа Орлова двух крупных рысаков отменной крови, по отцовской линии – от самого славного жеребца Сметанки, по материнской – от датских кобыл. Один из жеребцов светло-серый, другой – темно-серый в яблоках. Сейчас в санки заложили светлого, Желанного. Фролка сидел на облучке вполоборота, Лиза поймала его восхищенный взгляд, который сказал ей, что она сегодня дивно хороша и отменно одета.

До Невского было около трех верст, и Желанный пробежал это расстояние минут за десять. А там уж не побегаешь – то у Гостиного стой, то у всех модных лавок поочередно. Тем более что чуть ли не каждый день в Гостином новые прибавляются – он совсем недавно достроен.

Наконец, умаявшись и нагрузив Палашку свертками, Лиза велела ехать к Васильевым.

Екатерина Петровна, младшая сестра мужа, жила на Итальянской, нанимала там хорошую квартиру. Она загодя была предупреждена записочкой и ждала родственницу в малой гостиной. При ней была единственная дочка Марфинька, над которой мать прямо-таки трепетала. Марфиньке недавно исполнилось шестнадцать, и первые женихи уже появились в доме. Екатерина Петровна их привечала – она хотела успеть отдать дочку замуж.

Это была печальная история. И брат ее, муж Лизы, и старшая сестрица Марья Петровна, княгиня Ухтомская, были крепкого здоровья, а Екатерина Петровна уродилась хворенькой. Она рано и по любви вышла замуж за красавца офицера, но трое мальчиков, один за другим, умерли во младенчестве. Наконец доктор-немец, яростно махая у нее перед носом длинным перстом, запретил ей рожать. Она несколько месяцев сторонилась мужа, спала даже отдельно, и не выдержала – жалость ее одолела.

Так появилась на свет маленькая Марфинька. И ей-то удалось выжить.

Потом было много разных событий. Умер батюшка Петр Василь евич, по завещанию Екатерина Петровна получила куда менее старших братца и сестрицы, но довольно для безбедного жилья. Пять лет спустя приказала долго жить бабка ее мужа – и наследство оказалось неожиданно хорошим, так что Марфинька вмиг стала богатой невестой. Тут бы жить да жить – но муж поехал с приятелями зимой на охоту и там провалился под лед лесной реки. К Екатерине Петровне многие сватались, но она всем отвечала, что милый Ипполитушка ждет ее на том свете, обмануть его никак нельзя. И сама с удивительной регулярностью собиралась помирать – вот только дочка удерживала ее.

– Ну, недолго мне вас собой обременять, – сказала она Лизе, усадив невестку в гостиной. – Марфиньку замуж отдам – и в дорожку.

– Побойся Бога, – отвечала Лиза. – А внуков понянчить?

– Это уж без меня. Ночью сердце так билось, так билось, думала за попом посылать…

– За доктором Фалькенбергом тебе надо посылать и за лавровишневыми каплями! – сердито ответила Лиза. – Ты, Марфинька, будь умна и сразу шли за доктором, без промедления.

– Да, тетенька Лизавета Васильевна, – ответила тихая и застенчивая, подлинная девица на выданье, Марфинька.

Лиза глядела на нее с тайным неудовольствием – этой бы девчонке, по всем признакам, в колыбели помереть, а она, вишь, выросла и стала хороша, как святая у итальянских живописцев, – тонкая, белокожая, с длинной нежной шейкой, с круглым личиком, с нежным румянцем и губками бантиком. Ни белил, ни румян – все свое, не покупное.

Решив сегодня же вечером поговорить о Марфиньке с супругом, а он уж что-нибудь придумает, Лиза велела чтице развернуть свертки, показать покупки.

– А для тебя, голубушка, я конфектов накупила, и пастилы, и бисквитов, – сказала она Марфиньке. – Помню, в девках только ими и утешалась. Подружек назовешь, повеселишься.

– Не умеет она, – заметила Катерина Петровна. – И на Святках не гадала. Я уж ей говорю – одевайся потеплее, ступай ночью с девками снег полоть, женихов окликать, Кузьма с Данилой присмотрят, чтобы вас не обидели. Нет, какое там – сидела в комнате за книжкой. То ли в наше время!

Лиза не подала виду, что обижена. Катерина Петровна считала ее ровесницей на том основании, что Лиза – жена ее брата. А Катерине-то Петровне – все сорок пять! Хороша ровесница!

– А вот новинка, – сказала она. – Такое впервые вижу. Мамзель, где баночка?

На столик явилась коробка продолговатой формы, обтянутая голубым шелковым лоскутком, с ленточным бантиком.

– Бонбоньерка, а в ней – карамель! – объяснила Лиза. – Новомодное лакомство. Вы бы почаще выезжали, светики мои, на Невском каждый день что-то неслыханное.

– Да Марфиньке одно лишь малиновое варенье подавай! – Катерина Петровна засмеялась. – Для нее одной держим! И пирог печем, и в стакане с водой непременно ложка-другая размешана, и на калач или булку мажет. Так и сидит – в одной руке книжка, в другой булка с вареньем.

– А что женихи? Кто сватался?

– Не приведи Господь кто. Красовецкий!

– Матерь Божья! – Лиза ужаснулась неподдельно. – И у него достало наглости?! К благородной девице? Погоди – разве ж он не женат?

– Божится, что овдовел.

– Когда, как?.. Дожили – прощелыга, приказчик бывший, лезет из грязи в князи!

– Кто его знает, как. Приехал, цветы привез, еле в креслах поместился. Ступай прочь, Марфинька, – велела Катерина Петровна дочке. – Поди, поди! Потом спустишься в столовую!

Дочь встала, присела перед Лизой и с самым скромным видом, даже не подумав возражать, удалилась.

– Ангела мне Бог послал, – сказала Катерина Петровна. – Ну вот, ушла. Я его, старого черта, спрашиваю – уж не от своей ли дансерки он ко мне жаловать изволит? Весь Петербург знает – он Платову содержит. А он мне – дансерку брошу и от прежних шалостей отстану, коли отдадите девицу.

– Сие даже забавно! Ничего, сестрица, дурак сватается – умному путь кажет! А нет ли у Марфиньки кого на примете?

– Да она не посмеет!

– Ты, матушка сестрица, разведай-ка получше про ту дансерку, – подсказала Лиза. – Театральные девки умеют деньги вытягивать. Трудно будет уговорить ее расстаться с Красовецким. Не стала бы пакостить.

– Так ведь и не придется уговаривать – я ему отказала.

– Помяни мое слово – он вдругорядь свататься приедет.

– Спаси и сохрани! – Катерина Петровна перекрестилась. – Да как же про нее разведать, я и не знаю… Мы с Марфинькой только раза три в месяц в театре бываем, слушаем оперы. Кого спрашивать – понятия не имею.

– Ну так я имею! У меня есть компаньонка, Марья Дормидонтовна, а у нее кумов сын, она сказывала, служит в театре. Я ей велю, чтобы ко мне позвала, а потом я его с докладом к тебе отправлю. Такое дело нельзя пускать на самотек. Мамзель, запомни – не забыть позвать того сына, как бишь его…

Чтица кивнула.

– Ты и Марию Дормидонтовну ко мне пришли – мне старые пасьянсы надоели, пусть поучит новые раскладывать.

– Пришлю, сестрица. А что Ухтомские? – спросила Лиза про семейство другой сестры супруга, Марьи Петровны. И Катерина Петровна принялась рассказывать про женские хворобы, про неприятности от сыновей, Ореста и Платона, которые советов не слушают, играют по крупной, и уже столько денег промотали, что пару деревенек купить бы можно. И их гвардейская служба недешево обходится – вон осенью покупали дорогих лошадей, до сих пор Марья Петровна ругается, как вспомнит.

– Женить их надобно, – сказала Лиза. – Уже не мальчики.

– Да не хотят!

Катерина Петровна пустилась перебирать знатных и богатых невест. Лиза слушала вполуха – ей нужно было обдумать новость о сватовстве откупщика Красовецкого, да так обдумать, чтобы явиться к супругу с готовой диспозицией.

Но ее следовало преподнести так, чтобы Николаю Петровичу показалось: он сам все сопоставил, осмыслил и изобрел. Ибо от жены он должен получать любовь, нежность и милую болтовню, а никак не умные мысли. Впрочем, супруг не дурак – если вовремя ему подсказать главное, подробности он придумает сам. На это он мастер. А чего недодумает – Матвеич наверняка осторожно подскажет. Вот и история с дансеркой – тому пример… И не дай Господь, чтобы он усомнился в превосходстве своего ума.

После обеда Лиза велела посылать за санками. Прекрасный жеребец был отправлен обратно на конюшню – его берегли, не допускали, чтобы он часами стоял на морозе, и казачок Катерины Петровны отправился на извозчике в особняк Лисиных. Сама Катерина Петровна конюшни, где приютить чужих лошадей, не имела – а нанимала поблизости для своей запряжки. Через полчаса санки явились, Лиза расцеловалась с сестрицей супруга и с Марфинькой, условилась о следующих визитах и покатила домой.

– А я думал, что ты подольше у сестры останешься, – сказал муж, выйдя из кабинета. – Что тебе за радость дома сидеть?

– Не понимаю я женщин, которые с утра – хвост трубой и в поход по чужим гостиным, – отвечала, обнимая мужа, Лиза. – Уж коли в собственном доме радости нет и скука, так на что тогда и замуж выходить? Я понакупила всяких вещиц, сейчас с женщинами сядем их разбирать, потом завтрашний обед заказывать, потом рукоделье, а мамзель на клавесине играть станет, а чтица – сказки читать, скучать некогда. Я еще хотела сама пойти на поварню и для тебя бульон изготовить, как доктор велел. А за ужином новости скажу.

– Какие новости, душенька? Говори уж сразу!

– Ох, ты и вообразить не можешь, кто сватается за Марфиньку! Откупщик Красовецкий! Он ее вчетверо старше! А это уж чересчур. Я всегда была того мнения, что мужу надлежит быть в возрасте отца, чтобы жена и уважала, и слушала, и ласками его была довольна, – весело сказала Лиза. – Вот как я. Но этот уж в деды Марфиньке годится. Хотя богат, сам знаешь, как Крез. Да там и другая беда…

– Что из низкого звания?

– Нет, это беда третья. Другая – что у него на содержании дансерка.

– Ну и что? – спросил удивленный Николай Петрович. Он был убежден, что его жена таким вещам не придает значения: это та мужская жизнь, к которой светской женщине следует относиться спокойно и без возмущения.

– Да хоть бы десять дансерок – когда б он их так не разбаловал и мог дешево от них откупиться. А этой, сказывали, алмазные уборы дарил. Пойдем, душа моя, я купила тебе табак, как ты просил, и перчатки, вели своему Юшке их забрать. Да скажи – еще раз увижу, что он твой фрак в комнатах чистит, высечь велю. Пыль только вздымает – а надо на заднем крыльце, на морозце.

Николай Петрович пошел следом за женой в малую гостиную, где она в отсутствии гостей занималась обычно рукодельем и развлекалась.

– Так он разбаловал свою дансерку? – спросил супруг, садясь на канапе.

– Прямо беда. Сестрица твоя боится – что, как дансерка про сватовство пронюхает? Они ведь все шалые, без царя в голове, на всякие пакости способны ради денег. Не было бы от нее вреда.

– Так Катя ведь отказала ему?

– Отказала, а он не унимается. Так прямо и сказал – все равно девица за мной будет. А денег у него куры не клюют – а в доме хозяина нет, одни женщины. Я уж думала – позвать Катерину Петровну с Марфинькой к нам пожить…

– Настолько они перепугались?

– Что они – я, мой друг, перепугалась. Дансерка может и в дом забраться, переодевшись, и гадостей наделать. Они же у себя в театре вечно гадости творят друг дружке – помнишь, ты рассказывал, что одна девка другой в глаза уксус выплеснула?

– Ты, пожалуй, права. Надо им предложить к нам перебраться, – рассеянно сказал Николай Петрович.

Лиза эту рассеянность знала – началось мыслительное действо, первое шевеление идеи будущего плана. Теперь главное было – не помешать. Она села за рукодельный столик, тихонько велела подать корзинки с нитками и прикладом, подвинуть пяльцы. Супруг принялся ходить по гостиной – это хороший знак.

– А отчего бы и не отдать за него Марфиньку? – вдруг спросил он. – Он не молодой вертопрах, будет ее холить и лелеять, а потом она все его добро унаследует.

– Да уж больно собой нехорош.

– Ну и я нехорош, а ты меня любишь. Ты скажи сестре – пусть подумает хорошенько, пусть его понемногу привечает, – велел Николай Петрович. – Ежели он у нее бывать станет, подарки делать, то Марфинька к нему привыкнет.

Лиза отменно владела лицом – и уголки губ не дрогнули, когда она услышала мужнины слова, а следовало бы улыбнуться: рыбка клюнула.

– Скажу, душа моя.

Больше о том, чтобы пригласить к себе на жительство Катерину Петровну с Марфинькой, речи уже не было.

Лиза собрала вокруг себя компаньонок, велела чтице взять «Повесть об аглицком милорде Георге», и приятный домашний вечер начался. Сама хозяйка работала аграмант для отделки каминного экрана, девки шили постельное белье, и она присматривала, ровны ли швы и нет ли морщин на заложенном рубце. Француженка куаферша мадам Боннет мастерила себе ночную сорочку.

Чтица передавала голосом все ужасы повести и всю галантность ее героев – мало беспокоясь о несообразностях сюжета. Лиза слушала и не слышала – она мысленно была на Итальянской улице. Квартиру Катерины Петровны она знала, слуг ее тоже – и думала, как возможно туда проникнуть незаметно и кто из слуг может быть подкуплен.

Она догадывалась, что те же мысли бродят в голове у супруга, и что он через час-другой будет нуждаться в помощи.

Помощь была оказана за ужином.

– Ты, душа моя, варенья бери побольше, – сказала Лиза. – Для тебя ж варила, старалась. Надо бы, кстати, послать хоть полдюжины горшочков сестрице твоей – Марфинька жить не может без малинового варенья. Никому другому его и не дают, разве что гостям, а все – ей. Так у них уж кончается.

Николай Петрович, набиравший ложкой именно этого варенья, резко поднял голову, взгляды встретились.

– Ты полагаешь, теперь очередь Марфиньки? – спрашивал один.

– О чем это ты, светик? – отвечал другой.

Глава шестая

Санька сидел во флигеле и ломал голову – кто из береговой стражи был посредником между Глафирой и обожателем? (Слова «любовник» он даже мысленно произносить не желал.)

Эти мысли оказались спасительны – как любое дело для того, чья душа скорбит. Она, когда ощущает боль, тут же пытается натянуть на себя броню, и мало беспокоится о морали. Опьянение – отменная защита, это всем мужчинам известно, но есть еще одна: если бы в те минуты, когда Санька безутешно рыдал на морозе у театральной стены, некий ехидный дух перенес его в спальню Анюты Платовой, он ринулся бы в амурное сражение с такой отвагой, какой ранее за собой не знал…

Но сейчас, сидя в доме таинственного покровителя, он мог только рассуждать, и рассуждать злобно – Санька искал врага! Все, что он мог теперь сделать для Глафиры, – это покарать его. Иного способа проявить любовь более не имелось.

Петрушка, Трофим, Бориска, Сенька, Семен-питух… Да и не просто посредником, мастером тайно записочки передавать, а еще и продажным – если верны домыслы Келлера и Никитина.

Петрушка ленив – но он охотно возьмется исполнять сию комиссию за малые деньги. Трофим видит, что скоро придется уходить из береговой стражи, и подкапливает денежки – чтобы на первых порах с голоду не помереть. Он? Бориска – придурковатый. Стало быть, его можно вычеркнуть из списка? Сенька в малых деньгах не нуждается. Но ежели его о чем-то таком попросит купчиха – выполнит без размышлений. Он, красавчик, размышляет крайне редко. А купчиха – не дура, просто завела себе прелестную утеху, беря в том пример с некой особы высокопоставленной – такой, что во всей России выше нет. Ее Величество полагает, что имеет право, трудясь целыми днями, ночью получить гостинец по вкусу. И купчиха так же полагает. Она могла дать Сеньке поручение, выполняя чью-то просьбу – мало ли у нее знакомцев. Когда женщина, овдовев, сама возглавляет дело, то знакомцев вмиг образуется множество.

Семен-питух находится под каблуком у фигурантки Анисьи. То есть ему приходится думать, где бы взять денег на водку. Вот, пожалуй, самый подозрительный из береговой стражи – Глафира ценила его способность ставить танцы и порой с ним беседовала о своих выходах и сольных ариях, ни от кого не таясь. Так что он мог передавать записочки, ни в ком не вызывая подозрений.

Пятеро товарищей, каждый из которых – сам за себя, а прочим – недоброжелатель. И все вместе они ополчились на Румянцева, потому что обвинить в убийстве – это всем пакостям пакость, а не то что туфли к полу приколотить. Знали бы они, что из-за туфлей получилась вся катавасия, – то-то бы порадовались…

Санька подумал, что надо бы встретиться с Бянкиной и рассказать ей про подозрения. Федька для девицы неглупа; может, что-то заметила? Да и не мешало бы предупредить ее, что нашелся благодетель, который взял на себя заботу о фигуранте Румянцеве. А то она бог весть что натворит, опять вся береговая стража будет язвить и ехидничать.

Забота Саньке понравилась – его поместили в теплую комнату, выдали чистое исподнее, снабдили журналами, чтобы не скучал, покормили обедом с хорошим вином. Поздно вечером прибежал Жан.

– Успел побывать в типографии! – похвастался он. – Да из гранок сыскал лишь первую! Вот…

Узкий мятый бумажный лист содержал такие строки:

«Песня гласит: неверного извиняют, но никогда нескромного; и женщины не преминули примолвить, что песня говорит справедливо: но справедливо ли говорят оне сами? Вот что рассмотреть надобно.

Неверный не устоивает в своем обещании; ибо он клялся любить вечно. Первая обида. Неверный обманывает часто двух женщин вдруг. Вторая обида, но более простительная. Напоследок неверный оставляет часто женщину в недеятельности, или лишает ее некоторой части любовных выгод. Третья обида из всех несноснейшая…»

Как Саньке ни было скверно, однако он рассмеялся. Фривольность безымянного автора понравилась – ведь женщины желают любовных выгод, обретаемых в постели, не менее мужчин, только притворяются, будто к ним безразличны. Наконец хоть кто-то правду сказал!

– Какой живой слог! – сказал Жан. – Вот что надобно перенять. Слог, который при чтении не требует усилий. И выучиться вовремя вставлять простонародные выражения – вот как тут.

Он отнял у Саньки листок и указал на строчку: «ибо любовник нелепой простофили редко хвастать покушается».

– Что за журнал такой? – спросил Санька.

– «Лекарство от скуки и забот», выпускает господин Туманский. Мы все для него пишем. Но у меня вскорости будет свой журнал!

Санька понял, что напоролся на хвастуна, и решил это пресечь.

– Но вы же пишете оперы, которые вот-вот поставят у нас в театре, пишете трагедии, играете на скрипке. Еще и журнал впридачу? Не много ли?

– А иначе нельзя, – сказал Жан. – Коли хочешь добиться славы, нужно делать все! А я добьюсь! Оперы мои произведут фурор! И журнал также! А знаете, почему?

– Понятия не имею.

– Потому что я не бичую безымянные пороки!

Это было сказано с такой великолепной гордостью, что Санька даже растерялся. Самому ему и в голову бы не взошло бичевать пороки.

– То есть как?

– А так, что в журналах наших бичуют порок безликий – взять хотя бы скупость. Пишут: скупость-де смешна, скупец нелеп, да прибавляют басенку про придуманного чудака. Будет ли от того польза? Журналы у нас в государстве печатаются уже лет сорок – довольно времени, чтобы исправить нравы, а все напрасно! Знаете, сударь, почему?

Отродясь Санька не беспокоился об исправлении нравов в Российской империи. Его мир был величиной с театр – а дурные нравы есть необходимая принадлежность, или ты с этим смиряешься, или ищи себе другое место. Потому он в ответ на вопрос пожал плечами.

А Жан разволновался, стал ходить по комнатке, размахивая руками:

– Потому, что наши господа сочинители боялись писать о людях, в которых угнездились пороки! Вот ежели бы кто-то написал о скупости: сделалось нам известно, будто некий скупец до того дошел, что слуг кормить перестал, так что они на улице побираются и видеть их можно всякий день у ворот Гостиного двора, – так тут бы все признали известное в столице лицо, и оно бы устыдилось! Наши журналы ни в ком не вызывают стыда – вот в чем беда, сударь! А должны!

Тут оратор сшиб со стола подсвечник, но нагибаться за ним не стал.

– Мой журнал, который мы готовим, как раз и будет о столичных грешниках, которые сами себя узнают. Имен называть не станем – да оно и не надобно, публика догадается! Воображаете, сколько у моей «почты» будет подписчиков?

– Почты?

– Ну да, мы уже придумали название – «Кабалистическая почта». Ее будут бояться, как огня! Помните, был журнал «Адская почта»?

Санька кивнул, хотя не помнил.

– Журнал сей хоть и нападал на «Всякую всячину», однако был весьма умеренный – известных лиц не касался, разве что господ литераторов, ну да это – так, развлечение нашего круга, а не борьба с пороками. А знаете, чем он был хорош?

– Понятия не имею.

Журналы Саньке были мало интересны. Они время от времени проникали и в театр, и обнаруживались на столах в уборных береговой стражи, вперемешку с дырявыми чулками, банками румян, порванными подвязками, пуговицами, коробками пудры и прочей дребеденью. Попадались смешные или фривольные, читать которые в двадцать лет приятно, однако названий их Санька отродясь не знал – береговая стража довольно быстро раздирала их, пуская страницы на папильотки и заворачивание всяких мелочей.

– Так я объясню! – с азартом продолжал юноша, словно не замечая, что Санька в ней не нуждается. – В «Адской почте» была переписка двух бесов, Хромоногого с Кривым. Но бес – он смешлив и злоязычен, а этого для журнала мало. Нужен другой – тот, кто, как бес, сможет незримо проникать всюду, хоть в кабинет продажного судьи, хоть в спальню театральной девки, но при этом имеющий в себе и высокие материи! Я отыскал такое создание – отыскал в «Кабалистических письмах» маркиза д'Аржана. Это – сильф! В моем журнале писателями будут сильфы – ну, и ондины, вероятно, и гномы, и бес Астарот, как у маркиза. Только вот с именами загвоздка – думаю, давать ли им звучные французские, на манер Оромасиса, или те, что я им выдумал на русский лад.

Санька смотрел на восторженного Жана и думал: вот ведь городит человек ахинею, тоже выдумал заботу – как называть сильфов…

– Мне все более кажется, что лучше русские имена, – продолжал Жан, мало беспокоясь, слушает ли его Санька. – Вот, скажем, у д'Аржана ондина зовут Какука. Читатель прочтет это слово – и примется хохотать. А я полагаю, что хохотать нужно над пороками, а не над именем, и потому хочу назвать ондина Бореидом.

– Да, это исконно русское имя, – заметил Санька.

– Что? Да нет, конечно! Просто оно всякому читателю будет понятно – кто ж не знает Борея!

И точно – Борея знала даже малограмотная береговая стража, ибо он частенько являлся в балетах: злобный и свирепый греческий бог северного ветра, любимец балетмейстеров.

Санька слушал, как юноша расписывает будущий журнал с письмами философического и обличительного характера, а сам думал, как бы своротить гостя с этих высоких материй на более обыденные – такие, в которых простому фигуранту возможно было хоть что-то понять.

Ему на помощь пришел Никитин – влетел в комнату веселый и довольный, тут же принялся рассказывать новости.

– В театре суета неимоверная, – сказал он. – Однако полиция, сдается, не так глупа, как все считают. Кто-то подсказал ей, что ты, сударь, был в доме дансерки Платовой, и допрашивали ее очень сурово. Она, дура, решила с сыщиками кокетничать и жеманничать – так, я чай, из ее головы кокетство и жеманство повыбили надолго. Сам обер-полицмейстер кричать изволил.

Санька вздохнул – вот и Анюте досталось, а она тут вовсе ни при чем.

– Ей бы, дурище, сознаться, что имела с тобой рандеву, и тут же бы ее оставили в покое, так она уперлась! А ее содержатель, узнав про допрос, весьма разумно поступил – сразу прислал в театр человека выведать правду. Ну и нашлась добрая душа. Девки-то молчали, отнекивались, а кто-то из фигурантов возьми и доложи про Платову и тебя. Так что и от полиции у нее неприятности, и от господина Красовецкого. Как пить дать – бросит! Ф-фу, все выложил! – и Никитин со смехом шлепнулся в кресло.

– Так, может, я уж могу в театр явиться? – спросил Санька. Он сильно беспокоился: одно дело пропустить утренние занятия и репетицию, другое – спектакль.

– А нет, побудь пока тут и ничего не бойся. Твой покровитель довольно силен, чтобы ты, выйдя вчера из театра фигурантом, через неделю вернулся туда первым дансером.

Санька окаменел с разинутым ртом. Стать первым дансером! Он понимал, что не так это просто – с его-то ростом. Но ведь есть сольные партии, для которых рост неважен – было бы мастерство. А он умеет хорошо крутить пируэты, красиво прыгает – длинные ноги раскрываются и смыкаются отчетливо, разве что с кабриолями иногда получается невнятная мазня да колено подводит – не в сторону глядит на прыжке, а вниз. Он знает выразительные позы и умеет их показать лучше кого другого из береговой стражи.

– Ничего более не вспомнил, сударь? – взгляд Никитина из веселого сделался острым, хохочущий рот – оскаленным.

– Нет…

– Жан, ты первым делом, я знаю, сюда прибежал, а тебя Келлер ждет с гранками, – сказал Никитин. – Ступай-ка к нему, сделай милость.

– Я перевел второе Оромасисово письмо, – похвалился Жан. – Скоро у нас будет запас философических писем.

– Ступай, ступай!

Когда Жан ушел, Санька, немного смущаясь, задал вопрос:

– Верно ли, что он будет издавать собственный журнал?

– А что ж тут удивительного? Он талантлив – это всем понятно. И есть покровитель, который даст ему денег на «Кабалистическую почту». Замысел-то изрядный, – отвечал Никитин. – Он весь Петербург переполошит. Подписчиков будет – поболее тысячи!

– Но он… он даже моложе меня…

– Да, ему еще нет восемнадцати, – согласился Никитин. – Ну и что же? Он богато одарен. Свою первую оперу он написал в пятнадцать лет. И он – а это важнее всего! – страстно желает трудиться! Я отродясь так ничего не хотел – вот разве что девок… ну и хлебного винишка… Но поговорим о твоей судьбе, сударь. Мы тут потолковали и решили – тебе надобно припомнить все, что связано с бедной госпожой Степановой. Все! Понимаешь? А я буду тебе помогать.

– Как?

– Разговаривать с тобой и записывать вся полезное. Келлер говорит – он не выдержит и запустит в тебя чернильницей. А я – разгильдяй и повеса, только посмеюсь, коли что не так… ты что, сударь?..

Санька не признался, что у него возникло острое желание за ехать Никитину кулаком в веселую физиономию.

Фигурант более, чем танцевальное, должен освоить другое искусство – сдерживать себя. Если среди береговой стражи возникнет безобразная склока, начальство разбираться не станет – всем штрафы назначит. Потому береговая стража, коли что, сора из избы не выносит и показывает вид, будто все более или менее благополучно.

А что фигурант Румянцев в одних чулках на сцену вылетел – так то его вина. Какие башмаки с дырками в подошвах? Нет никаких башмаков! Хоть весь театр обыскать – нет!

Санька отошел к окну. Там ничего не разглядеть – да это и неважно. Лучше видеть пустой мрак, чем эту глумливую морду…

– Не хочешь разговаривать? А найти убийц своей прелестницы хочешь? – спросил Никитин. – Ведь это – все, что ты для нее теперь можешь сделать! Вот тоже обожатель сыскался на мою голову…

– Черта ли тебе в моих бреднях? – буркнул Санька. – Вы бы лучше докопались, кто из наших был посредником и выманил ее в антракте за кулисы.

– А что, ее нужно было выманивать?

– В антракте ей положено сидеть в уборной и отдыхать. А коли она оказалась там – выходит, позвали?

– Так… И как же ее могли позвать?

– Почем я знаю! Словечко шепнули во время танца, это совсем просто, рукой знак подали… ну, коли у них было заведено в том месте встречаться…

– А раньше ты, сударь, за ней такое замечал?

– Раза два или три она, когда мы из уборной спускались, уже внизу была, – подумав, отвечал Санька. – Не мог же я в антрактах возле ее уборной околачиваться. Меня бы с женской стороны в шею погнали.

– М-м-м…

Не сказав ничего более, Никитин подхватился и выскочил из комнаты.

Санька нехорошо усмехнулся – удалось-таки выжить. Что за дом – один его постоянный посетитель взбесился от собственных талантов, другой так и режет по живому, по больному… Хоть беги от них прочь!

Он вспомнил про Бянкину, которая обещала по-всякому извернуться, но выручить из беды. На следующую ночь была назначена встреча с ее подружкой. А ведь она, Федька, придумает, как выкрутиться! И дурацких вопросов задавать не станет…

Санька редко испытывал к Федьке чувство благодарности, но сейчас, в одиночестве, он даже улыбнулся, вспомнив ее рябое личико. Ну, не красавица, но он видел ее ноги открытыми куда выше колена – и знал, что ног такой стройности не то что в театре, а во всем Петербурге немного найдется.

Может, Федька что-то важное заметила? Тогда-то, до убийства, никто не придал бы значения случайной краткой беседе Глафиры с кем-то из береговой стражи – ну, столкнулись за кулисами, обменялись словечком… хотя не в обычаях Глафиры такие разговоры…

И тут Санька понял, с кем она могла беседовать свободно, потому что с детства к этому человеку привыкла. Сенька-красавчик! Они же в одном классе обучались, их в пару ставили, они вместе были из школы выпущены! Не купчиха просила его об услуге, а сама Глафира! Вновь возникло желание поскорее увидеть Федьку и задать несколько вопросов – девицы по этой части глазасты, может, она как-то подсмотрела Глафирины с Сенькой встречи?

Санька даже вообразил, как неплохо бы привести Федьку в этот дом, где никто ехидными взглядами и злоязычием не помешает им беседовать.

Если бы можно было так дружить с Федькой, чтобы про то никто не знал! И чтобы сама она никаких брачных планов не строила… Ей-то, поди, уже пора, но ему-то еще рано!

Заглянул служитель, посоветовал ложиться спать и не жечь зря свечи. Санька так и сделал, сперва допив вино.

Во сне явилась Глафира… В простом светлом платье, серебристом и расплывчатом – не понять, где кончается ткань и начинается грудь. Молча смотрела и кивала. Во взгляде была любовь. Санька стоял совсем рядом, а прикоснуться не мог – она все отстранялась, уклонялась, а глаз не отводила. Санька сказал ей:

– А я бы тебя под венец повел.

Она вздохнула и улыбнулась. Он заговорил страстно, что-то обещал, о чем-то умолял, плакал, угрожал, жаловался, требовал, соглашался, но вспомнить наутро не смог ни слова – только сереб ристое платье и лицо.

Проснулся он поздно – видимо, хозяин дома не велел будить. И еще был в постели, восстанавливая в голове вчерашний ход мыслей, когда вошел Келлер.

– Лежи, сударь, лежи, – сказал он. – Что это у тебя вид такой ошарашенный?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.